

ПАВЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ

Оглавление

Вместо вступления	2
Размышления о павловском колоколе	2
Очерк первый. "На скупке"	4
I. Дорогой. - Аверьян и его сказка. - На постоялом	4
II. Скупка, ее логика и ее разговоры	10
III. Человек, который срамит свое звание	14
IV. Светлое явление на Павловской улице	17
V. Человек, соблюдающий свое звание	18
VI. Одна из форм павловского кредита	20
VII. Легенды о благодетельных скупщиках	21
VIII. Из новой истории	25
IX. Мечты	30
Очерк второй. Скупщик и скупщицкая философия	33
X. Скупщицкий юмор	33
XI. Об экономическом человеке	35
XII. Дужкин и Дорошенко	39
XIII. Победы "экономического человека"	44
XIV. О торговом деле и баловстве	46
XV. О Мишаньке, праведном стяжателе	48
Заключение	51
Мултанское жертвоприношение	55

ПАВЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ

Вместо вступления

Размышления о павловском колоколе

Село Павлово лежит над Окой, на нескольких горах и по оврагам. Горы эти дают свои названия разным частям Павлова: Семенова, или, как называют ее иногда по-старинному, Семенья-гора, Дальняя Круча, Троицка-гора. На Троицкой горе стоит старая церковь, видная издалека, с пароходов, бегущих книзу по излучинам Оки. Около церкви разбит небольшой садик, в садике находится квадратная площадка с шатровым навесом, заменяющая колокольню. Под этим навесом, на толстой деревянной перекладине, висит громадный колокол, каких не много увидите вы даже и в больших городах.

Небольшая калитка в церковной ограде выводит из сада прямо к обрыву Троицкой кручи, а с этого обрыва видны, как на ладони, Ока, заокские луга с деревнями и самое Павлово.

Раннею еще осенью, приехав в Павлово на пароходе, я ходил с трех часов утра в понедельник по павловским улицам, присматриваясь к картинам. и прислушиваясь к разговорам кустарной "скупки", которая происходит раз в неделю и начинается еще при огнях. Тогда цены начали уже сильно "низнуть", как говорят в Павлове, и поэтому картины и разговоры, не особенно привлекательные и в обыкновенное время, теперь произвели на меня впечатление угнетающее. Когда взошло солнце и огни в скупщицких подвалах погасли один за другим, меня потянуло из этой человеческой свалки в кривых улицах куда-нибудь на простор, в уединение. Я еще не знал Павлова, но случайно пустынные взвозы и кривые переулки вывели меня к собору на горе; тропинка в церковном садике привела к калитке. Переступив ее, я очутился на круче и остановился, восхищенный открывшимся передо мною видом.

Солнце было еще невысоко. Вчера выпал дождь, и луга за Окой в разных местах курились плотными белыми туманами, из-за которых кое-где сверкали окна далеких, тоже кустарных деревень. Ока нежилась в берегах, синяя и сверкая искрами далеко под береговыми ярами. По ней грузно сновал паром от одного берега к другому, точно большой водяной жук, между тем как легкие лодки мелькали взад и вперед, как комарики. И паром, и лодки были нагружены рабочим народом. Народ сновал по улицам Павлова, под моими ногами. Кучи кустарей, толпившихся ранее, подобно муравьям у муравейников, около скупщицких подвалов, теперь редели, и муравьи расплзались по улицам, по базару, скупиваясь у возов с деревенскими продуктами, у лавок. Гул этой толпы едва достигал сюда, уменьшенный, как и самые фигуры.

Картина была полна жизни, солнечного блеска и оживления. А когда, вдобавок, откуда-то сверху, из ничтожного, едва заметного облачка посыпался вдруг редкий дождик и капли, сверкая, протянулись в синем воздухе золотыми нитками, то казалось, что это радостное, благосклонное утро шутит и заигрывает с бодрю, полною рабочего оживления страной.

Но это была только иллюзия. В действительности, впечатления, которые я принес с собою на Троицкую кручу, были спутаны и неясны. Кустарное село имеет несомненно свою собственную физиономию, и я не мог сказать о ней, по первому впечатлению, что "таких много". Но выражение ее мне как-то не давалось...

Вчера один мой знакомый, живущий в Павлове, восторженный поклонник кустарной формы промышленности, сводил меня к мастеру-ковалю. В доме нам сказали, что хозяин в кузнице, а кузница в саду. И действительно, маленькая, черная и покривившаяся набок кузница едва виднелась среди цветников. Ни одной грядки с картофелем или капустой здесь не было. Все небольшое пространство пестрело цветами, которых запах смешивался с запахом дыма из кузницы. Худой, весь черный коваль, с впалую грудью и непомерно развитыми руками, представлял странное зрелище среди этого цветущего и благоухающего царства.

- Да вот, - сказал он, заметив мое удивление, - никакой более охоты не имею... Иные к вину привержены, кто кочетинные бои уважает, а я больше насчет цветов.

И он с гордостью оглядел свое цветущее царство, а мой знакомый с гордостью посмотрел на него.

- Вы видите, - сказал мой знакомый: - собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами... Здесь есть все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма.

Теперь я искал глазами этот садик и не мог разыскать. Не только этого, но и других "собственных" садиков не было видно. "Собственные" дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженьях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотную крышей, игрушечную трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смехотворными оконцами. И таких "собственных" домов, на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домишки за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конурке?

И все Павлово, расстилавшееся подо мной по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего, сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смену дряхлого и повалившегося, - совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен сколько угодно. Среди лачуг высятся "палаты" местных богачей, из красного кирпича, с претенциозной архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами... Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток "фабрики" прорезал воздух, то мне показалось, что я, наконец, схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть, - что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...

.....

На площадку, заменяющую колокольню, взошел какой-то молодой человек в черном подрыснике, с длинными волосами, и стал раскачивать огромный стержень колокола, собираясь звонить к ранней обедне. Чугунное сердце завизжало и заскрипело в гнезде, причетник с усилием тянул веревку, а под конец сам весь подавался за стержнем. Я со страхом ждал первого удара, думая о том, какая масса звона хлынет сейчас на меня из-под этой громады.

И вдруг какой-то дребезжащий стук, а за ним жалкий, надтреснутый хрип пронесся над моею головой, упал с кручи и замер в лугах, за Окой. За этим ударом последовал другой, за ним третий, и все такие же жалкие, такие же надтреснутые и хриплые. Тяжело было слушать эти разбитые стоны и выкрикивания меди; казалось, вот-вот с последним ударом большой колокол издаст последний глухой хрип и оборвется.

- Сломан, - сказал мне в промежутке старик, сидевший невдалеке, на скамейке, которого я не заметил ранее, - сломан колокол-те. Оттого и хрипит...

И сам он тоже закашлялся, причем этот кашель, в котором слышалась многолетняя разъедающая железная пыль, удивительно напоминал хрипы колокола.

Я оглянулся. Действительно, внизу в теле огромного колокола виднелась большая зазубрина, от которой сверху змеилась широкая трещина.

Старик поднялся со скамейки и, между тем, как ветер трепал на нем жалкую одежку, он с досадой махал рукой по направлению к колокольне.

- Ну, будет уж, будет. Чего тут... Так вот и Павлово наше, - сказал он мне, поворачиваясь, чтобы уйти. - Бухает, бухает, а толку мало.

И он опять махнул рукой, закашлялся и побрел шагом человека, которому, в сущности, и идти-то некуда ("все толку мало"). А я остался, слушая, как усердствует звонарь, и думая про себя: "Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал? Неужто этот старик, проживший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?.. Павлово, - один из оплотов нашей "самобытности" против вторжения чуждого строя, - неужели оно тоже бухает без толку, предсмертным, надрывающим хрипом? Как будто в "кустарном" бытовом строе тоже есть своя зияющая трещина..."

Таково было первое впечатление, произведенное на меня кустарным селом.

Очерк первый. "На скупке"

I. Дорогой. - Аверьян и его сказка. - На постоялом.

Зимой этого же года я опять отправился в Павлово. На железнодорожной станции в Гороховце мне попался попутчик, молодой виноторговец, недавно открывший в Павлове склад. Мы наняли просторные сани и поздним вечером отправились в путь.

Случайный мой спутник недавно вернулся из Парижа и весь был еще под впечатлением выставки. Он рассказывал о парижской толпе, о веселых французах, которые мчатся по бульварам, распевая шансонетки, о том, как публика, при виде этого дебоширства, только сторонится, благосклонно улыбаясь. Как, выходя с заводов, рабочие устраивают импровизированные процессии, во главе которых подростки, сидя на плечах товарищей, размахивают красными знаменами и все поют, и поют. Как при нем в ресторан вбежал какой-то господин, скинул зачем-то сюртук и, взобравшись на стол, стал тараторить, горячась и жестикулируя. Рассказчик плохо знал язык, но, все-таки, понял, что речь шла о правительстве, и оратор кого-то сильно ругал... Потом отзвонил, надел пиджак и ушел, как ни в чем не бывало. И никто ничего, как будто так и надо.

Даже наши, русские, в Париже "осмелели": все остались недовольны наградами. Администрация русского отдела, после экспертизы, повывесила в павильонах, рядом с экспонатами, объявления о наградах: "медаль де-бронз", "медаль д'аржан", или там почетный отзыв. А наши громадными буквами внизу: "рефюзе", значит не желаем, отказываемся. После этого начальство сколько упрашивало: "Снимите, бога ради! Что такое за срамота: весь отдел в заплатах"...

Каюсь, я не особенно внимательно слушал эти характерные рассказы. Меня укачивало тихое поскрипывание полозьев по мягкому снегу, и туманная, неопределенно клубившаяся даль наводила дремоту. В темноте русской ночи, в русских розвальнях, среди русского кочкарника, покрытого русским снегом, эти рассказы о солнце, песнях и вольном озорстве парижан производили такое несообразное впечатление, как будто среди зимы у меня над ухом жужжит летний комар. Я едва ли даже восстановил бы теперь в памяти эти рассказы человека, лица которого я почти не видал в темноте, если бы впоследствии мне не пришлось много раз вспоминать эти рассказы по контрасту с впечатлениями кустарного села.

Со второй половины пути мой спутник тоже замолк. Ночь была темна, снег едва белел по сторонам, а вдали по горизонту, казалось, клубились неясными очертаниями какие-то дымные столбы, без огней. Это были, должно быть, кустарники и перелески. Такие же темные столбы стали попадаться у самой дороги, но это были уже не кусты, а фигуры и группы людей, с кошельками за спиной. Это мастера из деревень спешили к утренней скупке и сторонились с дороги, утопая выше колен в снегу.

- Эй, дяденьки, дяденьки!- остановил нас чей-то грубовато-насмешливый голос при одной такой встрече. - Не подвезете ли мастера, Христа ради?..

- Аверьян это, - сказал ямщик с усмешкой в голосе. - Затеяливый мужик... Говорун!..

Я попросил остановиться, и сзади нас догнал здоровенный мужик с котомкой за плечами. Он весело скинул со спины кошель, бросил его, брякнув замками, в сани и сам уселся, свесив ноги наружу.

- Вот и отлично, спасибо добрым господам. Погоди, брат ямщик, погоди. Дай мужику цыгарочку закурить.

В его грубоватом голосе слышалась ирония деревенского остряка и балагура. Огонь спички осветил широкое лицо с лохматою бородой и искрящимися насмешкой глазами. Закурив трубочку, он поднес спичку и взглянул мне в лицо.

- Не евреи ли будете?

- Нет, не евреи.

- Эхма! Жалко! А я думал, не моего ли еврея опять мне бог дает.

- Зачем вам так понадобился еврей?

- Продавал я тут одному, - сказал он, ухмыляясь и почесывая в затылке. - Да вишь уничтожили его, чтобы вовсе им в Павлове не торговать. Вот теперь и об жиде заплачешь!

Он пыхнул цыгаркой и сказал:

- А по-моему, никакого от них утеснения мастерам не было. Может, где-нибудь в прочих местах... А к нам приехал, купил, деньги отдал, - опять милости просим. Скупщики возненавидели... Он - еврей, за два процента десять верст пешком пробежит, а иным прочим, народам пятнадцать процентов подавай, потому что мы на рысаках ездим.

Он докурил трубку, выбил ее об отводину саней и сказал:

- Кто знает, отчего это цена, бог с ней, все низнет! Кто говорит - Москва цены сбила. Конечно, может и это быть. У нас говорится: "В Москве заест, - в Павлове стопорит". Вот все равно на станке: в одном месте заест, - все колеса станут. А тут еще еврея запретили... Теперь у скупщика они закупают. Ну! Еврею нужен барыш, скупщику барыш, а уж кустарю и полбарыша не осталось. Так ли я говорю, господа?..

- То-то вот, - продолжал он, впадая опять в прежний насмешливый тон. - И так можно говорить, и этак можно говорить. А как оно взаправду выходит, мы, деревенщина, не смекаем, а павловские господа-мастера и подавно.

Он помолчал и опять заговорил с ноткой насмешки:

- Вы как об них понимаете, о павловских мастерах? Мы так понимаем, что павловский народ вовсе бездушный. Хаживали мы к ним... Думаем себе: все-таки, не нам, деревенщине, с павловскими равняться. Народ несколько, все-таки, пообломанный, а на поверку выходит нестоящее дело. И разговоры у них все про кулачные да про кочетиные бои. Много-много что про диакона заговорят. Дескать, та-акую октаву вытянул, - во! Стекла задребезжали, свечи потухли. А этого, чтобы как следует о жизни своей подумать, - этого нет.

- А вы, деревенские, думаете? - спросил я с любопытством...

- Ну... тоже со всячинкой... Мало и мы думаем, правда это. Известно, мужики - темнота. Иной век проживет и в землю уйдет, ни разу не думавши. Ну, а уж который ежели задумается, так не о кочетах, да не об диаконе... вот что! Тут уж, господин, мысли пойдут вовсе другие. Деревенский народ не обломан, конечно. Личка на нем не та, а весом-то он потяжеле павловского выйдет.

- Послушай, как тебя? - вмешался доселе молчавший мой попутчик.

- Аверьяном люди добрые звали, величали Иванычем, по прозвищу Щетинкин.

- Ты, Аверьян Иваныч, не по старой ли вере?

- Нет. Мы сами по себе. И не люблю я их... У них, господин, книги старинные, с застешками. Ну, много ли их всех-то? Долго ли их перечитать. А новых им не надо. А мы, как бы то ни было, всякую книжку прочитаем, нам это наша вера позволяет. Иная книга такое расскажет, что другому, может, и читать-то не надо бы, который без разума человек... А вы, позвольте спросить, к скупке едете?

- К скупке.

- Покупаете?

И опять, раскуривая трубку, он посветил мне в лицо, взглянув с насмешливою пытливостью.

- Нет. Я еду к скупке только из любопытства. Сам не покупаю.

- У нас про скупку сказочка есть...

Он затаился и, посмеиваясь, покуривая и сплевывая, рассказал следующее:

- Давно дело-то это было. Задумал как-то чорт устроить ад на земле, стало быть, на сем свете. Обернулся немцем и подсыпался к графу, который проживал за границей. Что, дескать, людишки у тебя все одною землей занимаются? Устрой да устрой у себя в имении завод. И доход пойдет, да и почетнее тоже. Послушался помещик, сам остался за границей, а немца послал в имение заводы строить. И построил немец первый завод в Павлове, на Семеньей горе, железо делать.

Вот живет помещик за границей, получает доход хороший, и вздумалось ему как-то раз проведать свои имения и посмотреть, как работают на заводах. А был он доброй души человек. Вот приехал он в Павлово и пришел на завод, как раз на ту пору, когда из сварочной печи вынимали раскаленную "сварку" (Железные остатки, лом, которые сплавляются под молотом в одну массу, опять годную в дело.). Глядит помещик: печь пламенем пышет, так что и подойти невозможно, люди в дыму и в копоти. А сварка красная вся, шипит, трещит, окалиной во все стороны так и брызжет. Подтащили ее крючьями к наковальне, как грохнет по ней стопудовый молот, как пыхнет от нее пламя да искры... С нами крестная сила! И людишек-то из-за огня не видно.

Испугался добрый граф... "Подать немца сюда! Не знал я, откуда у меня доходы"... Глядь, а немец точно сквозь землю провалился.

Завод уничтожили, горно потушили, да искры из-под заводского горна уже разлетелись кругом с Семеновой горы по всему Павлову. Застучали в избушках молоты, завизжали пилы, зашипели паяльники, закипело мастерство и разлилось, как пожар, по всей округе. По деревьям-то хоть землю не бросили, а павловцы совсем забыли про пашню.

Прошло сколько-то годов, только опять тот самый чорт и загляни в Павлово: дескать, как там народ теперь живет? И видит, живут павловцы отлично: народ кормится, лапти скинули, в сапоги обулись. Нароботают сколько кто управится, потом приедут, покупатели, купят. А то и сам мастер лошадку запряжет, да, благословясь, на базар свезет, в Нижний там или еще куда. Сосед попросит, он и соседский товар захватит, продаст, деньги привезет. Так и шло, а, может, и доселе так бы велось или бы и еще как-нибудь...

- Как-нибудь, Аверьян Иваныч?

- То-то что вот. Все мы как-нибудь да как-нибудь, ан бес-то скорее нашего спроворит. Стало чорту за обиду. Дескать, из-за чего же я-то бился, этакое неподходящее дело теперь выходит. Стал он думать, как дело на свой лад поправить.

И придумал.

Был в Павлове мастерок один. Работать не любил, а деньги любил. К этому человеку дьявол и подъехал: "Хочешь, говорит, я так тебя поставлю: в понедельник вставать тебе пораньше, а за то всю неделю спи сколько хочешь?" Ну, тот, конечно, рад. Ладно. "Сделай, говорит, себе подвал, чтобы прямо на улицу, да с крепкими затворами".

Сделал.

Вот раз, зимняя ночь-полночь на дворе, первые петухи только скричали, народ спит, будит он мастера. А дело как раз с воскресенья на понедельник. "Вставай!"

Потянулся мастер, вспомнил обещание, встал. "Свети огонь!" Засветил фонарик, пошли на улицу.

Отперли кладовую, а в кладовой-то пусто. Поставили огонь на прилавок, сели сами, сидят. Огонь на пустую улицу светит.

"Что будет? - думает мастер. - Что такое это выдуманно: сиди в пустом подвале сложа руки, да чтоб от этого деньги завелась? Чудно что-то". И люди смеются... На другой понедельник мастер и вставать не хотел, да все-таки послушался. А между тем, слух прошел, и стал на огонь народ выползать, все одно мухи на свечку. Первые полезли похмельщики. С воскресенья-то глаза налили, ночь-полночь - уж у них тоска, глотка по рюмке тоскует, надо похмеляться, а не на что. Вот один, другой похватили замки, несут.

- Чем так-то сидеть, возьми вот замки, за что дашь!.. Смерть наша приходит.

А дьявол под бок толкает мастера: "Бери!"

Ну, и пошло! Мастер неделю спит, в понедельник до зари встает, огонь зажигает, садится в подвале. Народу показалось хорошо: чем самому возить на базары да с купцами торговаться, пускай же они возят, а мы в то время сколько нарботаем...

Вот оно, старики говорят, как скупка началась. А дьяволу что и нужно!.. Теперь вот про себя я вам скажу: охоч я на работу... Неделю работаю, встаю в три часа, ложусь в одиннадцать. Стучу молотком, песни пою. Лягу на подушку - камнем засыпаю. А как суббота на исходе, тут радоваться надо, спи, отдыхай в охоту, Аверьян Иваныч. А не спится. Не спится, всю ночь мечешься: что-то будет в понедельник, не упадет ли цена, возьмут ли товар? Как бы не насидеться без хлеба о детишками, на железо бы хватило, да ковалю отдать. Тоже ждать не станет. Настоящий нам ад каждый понедельник на покупке.

Вот, ежели угодно, посмотрите нонче. Где еще до зари, часов, никак, с трех, пойдут скупщики с фонарями, отопрут подвалы, сядут. А мы тучами к ним, как мухи на падаль. "Батюшка, возьми! батюшка, не оставь только!" Мечемся, лезем, друг дружку давим. А кого, спрашивается, тешим? Все его, первого заводчика. Вот вы смотреть станете. Вам со стороны виднее: не увидите ли где его, первого заводчика? Небось толкается тут да смеется... А нам не видно.

Нам не то что *он*, сам Микола угодник приходи, мы и того не разглядим, под бока натолкаем. Сторонись, дескать, наше дело: с товаром к прилавку прем... Эхма, не взыщите с Аверьяна: болтаю я все! Такого мать родила. И отец-покойник, сказывают, такой же был; где бы другому плакать, а мы все смеемся...

- Это что за огни? Павлово, что ли?

- Самое Павлово. Вишь, огней сколько. Говорил я вам: не спит народ, - не до сна под понедельник-то им.

Копыта лошадей стучали по льду Оки. Горы Павлова сливались с сумраком ночи, и огни, казалось, висели на разных высотах в воздухе, надвигаясь на нас. Потом, скользя и спотыкаясь, лошади стали карабкаться по уклону и из темноты выделились и проплыли над нами угрюмые "палаты" с темными окнами.

- Слава тебе, господи, приехали, - весело сказал Аверьян. - Спасибо и вам, подвезли мастера. А сами где остановитесь?

- В гостинице где-нибудь.

- И отлично. Гостиница у нас первейшая, Париж и Лондон. Вот она самая. Тпру-у, милые! Стой, ямщикок...

Лошади остановились у двухэтажного дома.

- Пожалуйста! Париж и Лондон, все к одному месту. А просто сказать, - постоялый двор. Прощенья просим. Ежели взаправду выйдете на покупку, может, еще увидимся, - сказал Аверьян.

- А долго еще до покупки?

Аверьян посмотрел кверху, где, в вышине, слабо виднелось несколько звезд, потом оглянулся по улицам:

- Часа полтора осталось, не боле. Вишь народ набирается.

Действительно, улицы были полны шороха и той особенной нешумливой суеты, которая как будто приглушается покровом ночи. Мимо нас то и дело проходили группы деревенских кустарей с кошельми за спиной. По сторонам улицы стояли сани, хозяева спали на них, а лошади чавкали сено. Невидимый топот, невидимые голоса и возрастающее в темноте оживление вливались из переулков, наполняя глубокую, теплую и сыроватую ночь.

Аверьян, вскинув на плечи кошель с замками, быстро исчез, смешавшись с ночной толпой. Мой попутчик тоже распрощался и стал где-то недалеко стучаться в окно. Мне предстояло разыскивать себе ночлег в "Лондоне и Париже", зиявшем передо мною раскрытыми воротами, в глубине которых, где-то неизмеримо далеко, блуждал одинокий фонарик.

С великим трудом и даже с немалою опасностью поднялся я во второй этаж по узкой лестнице. Передо мной раскрывались внезапно то какие-то пропасти, откуда слышалось тихое чавканье и жалобные вздохи лошадей, то вдруг отверстие в стене ставило меня в непосредственное соседство с наружною пустотой, где белели старые крыши. Где-то все мелькал фонарик, где-то кто-то тихо, но свирепо ругался, где-то стучали копыта лошадей и полозья саней терлись по деревянному помосту. Вообще, царило то же движение в темноте наряду со сном, как на улице.

Наконец, при помощи спички, я нашел какую-то дверь, куда и решился войти.

- Ну, что стал, проходи вперед! - не особенно приветливо встретил меня сиплый голос откуда-то из темноты каморки, в которой я очутился.

Я прошел вперед, в такую же каморку. Дальнейшие изыскания привели меня в комнату побольше, но всюду, на лавках, на диване, на полу, валялись человеческие фигуры вповалку. Все это сопело, бормотало во сне и шевелилось при тусклом свете стеной лампочки с закоптелым стеклом.

Постояв несколько секунд в нерешимости, я двинулся назад, так как пристроиться здесь не было никакой возможности.

- Послушайте, там нет места, - робко обратился я в темноту, откуда прежде последовал неудачный совет.

- А? Что? Да ведь это валенщики.

- Ну, так что же, что валенщики, а, все-таки, места нет, - ответил я, стараясь придать своему голосу возможно более убедительности.

- Они скоро уедут. Да вы кто, евреи, что ли? Ложитесь пока вот сюда.

Кто-то завозился на кровати и на ней уселась какая-то невероятно длинная, похожая на привидение, фигура. Фигура посидела, позевала, потом, как будто окончательно решившись, поднялась, взглядываясь в меня при тусклом освещении из соседней комнаты.

- Евреи будете? Ну, ложитесь, ложитесь с богом на мое место.

Я не считал удобным рассеивать заблуждение, вследствие которого получалась, наконец, возможность пристроить куда-нибудь свою скитальческую особу. Место, куда я лег, не раздеваясь, было согрето моим предшественником, подушка пахла чем-то кислым, а по стенам что-то очень подозрительно шуршало. Но, взглянув, с какими усилиями мой предместник вонзал теперь свою сухопарую фигуру между других тел на полу, в соседней комнате, я нашел, что понятия об удобствах весьма относительны.

Через некоторое время стали уходить валенщики, холодя каморку и хлопая дверями. Потом кто-то, будто во сне, натывается на мою лежанку, падает вперед, упирается в меня руками и говорит: "извините-с".

Осторожно, ощупью обойдя мое ложе, незнакомец начинает мыться где-то надо мной, и брызги летят мне в лицо. Умывшись, он, в пролете двери, подвязывает очень тщательно щеку платком, и еще через несколько минут, я вижу его уже за самоваром, с хозяином помещения, в котором узнаю моего благодетеля.

Последний одет в ситцевую рубаху, повязанную шнурком, на ногах - отопки, на шее - высокий старомодный, галстук, придающий его фигуре вид отчасти хищный, отчасти же унылый. Они сосредоточенно пьют чай и ведут отрывочные разговоры.

- Кто? - спрашивает подвязанная щека, кивая в мою сторону.

- Еврей.

- Допустили опять?

- Не слышал что-то. Видно допустили...

Несколько минут они пьют молча. Потом хозяин мрачно ставит стакан и говорит е угрюмою сосредоточенностью:

- Прежде от одних евреев сколько ренты получал: покупаешь ему, укупориваешь, отправляешь. Теперь ничего нет. Вот ноне прилечь негде, набилось народу. Да народ пустой: валенщики! дивиденду от них грош... И что такое? Правительство, например, хлопочет облегчить бедному народу, а тут делается стеснение...

Лихорадочные глаза хозяина сверкают сдержанною злостью. Собеседник, повидимому мелкий приезжий скупщик, равнодушно допивает из блюдечка.

- Торговцу от них теснота, - говорит он спокойно. - Лучше же русскому человеку получить доход... А, впрочем, наше дело маленькое. Нам хватит. Пожалуйте-ка мне столик. Пора!

Он одевается и уходит со столиком и фонарем в руках, а хозяин уныло продолжает наливать чашку за чашкой, что-то бормоча по временам про себя. Его раздражение усиливается, когда я тоже выхожу к свету и он убеждается, что я не еврей.

Выйдя на улицу, я с первых же шагов натываюсь на его бывшего собеседника. Он сидит у стены дома, за столиком, на котором горит фонарь, тщательно закрывает воротником большую щеку и просматривает взглядом образцы, которые как-то вяло еще подают ему кустари. Они отходят от него с насмешками и остротами.

- Даром огонь засветил!

- Чай, свечка-то копейку стоит!

Несколько таких же столиков с фонарями, точно светляки, виднеются вдоль темной улицы.

Я посмотрел на небо. До свету, повидимому, еще далеко. Небо было темно, последние звезды исчезли, мелкая изморозь сыпалась сверху, и ветер прорывался с реки в переулки.

Кто-то осторожно толкнул меня локтем. Кучка кустарей стояла кругом, протягивая образцы.

- Где принимать будете? - тихо спрашивал один; видимо, они опять сочли меня за еврея, приехавшего сюда контрабандой.

- Опознались, ребята! - сказал насмешливый голос, по которому я узнал Аверьяна. - Это мой барин, скупку посмотреть приехал, да вот теперь на небо и смотрит: не видно ли, дескать, где-нибудь самого-то главного скупщика?..

- Аверьян сказочку свою, видно, рассказывал, - засмеялся один из деревенских кустарей.

- Рано еще, господин, - продолжал Аверьян. - Без попов обедни не служат, а настоящие-то попы еще не вышли. Это вот, - насмешливо кивнул он на огоньки, - только дьячки да причетники.

- Вышел Молотков, сказывают, вышел! - сказал кто-то, пробегая мимо, и кучка кустарей метнулась за ним. В то же время в другой стороне улицы показался фонарь и за ним, все увеличиваясь и прихватывая за собой встречных, потянулся целый хвост народа.

Фонарь остановился у широкой сводчатой двери подвала. Загремели болты, открылась какая-то темная нора. Скупщик прошел туда, опустил прилавок, перегородивший широкий вход, поставил на него фонарь и уселся, освещенный огнем на фоне этой пещеры. Толпа тотчас же плотно сомкнулась за ним, теснясь и чуть не влезая друг на друга.

Это значит, что "богачи" засветили огни и началась настоящая скупка.

II. Скупка, ее логика и ее разговоры

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напирających с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, - они взволнованы. Он разворачивает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, - страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, - вражды на лицах отходящих... "Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру", - невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но с другой стороны, - если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвалов, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым, пронизательным взглядом. Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что "нонче народ станет уступать до последнего". Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

- Рука, что ли, Иван Иванович? - и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.

- Не рука.

Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые образцы - несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния.

- Рука, что ли? - спрашивает следующий.

- Почем отдашь?

- Попрежнему, Иван Иванович, как всегда.

- Без полтины.

- Много дороже слышали...

- Надо было отдавать.

И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.

Это он пробует, до какой степени народ поддается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

- Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка (Личить - значит обтачивать поверхность ножей на камне, перед полировкой.) у вас плоха, - говорит он.

- Личка у нас ноне, Иван Иванович, - первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

- Почем?

- По шести гривен.

- Уступай, Потапыч, уступай.

- Уступлено, Иван Иванович, сами знаете, по восьми брали.

- Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.

Уступают до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем, человек все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция - пресс... Кустарь - материал, лежащий под прессом, скупщик - винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки (На скупке принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условной цены. Во время приемки кустарь доставляет условленное количество самого товара.), которая следует за скупкой,

торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записанную цену и швырнул с досадой в общую кучу.

- Еще упала цена! Все уступают, да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы, - за такую цену отдавать!

- Разве это вам невыгодно? - спросил я, удивленный этою досадой на дешевизну покупки.

Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать до последней возможности.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его пронизательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него, безукоризненны, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее качество товара; форма остается та же, но вес и работа - другие. Он - артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

- Почему?

- Знаете сами, почему брали.

- Теперь дешевле.

- А как?

- Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

- За полтину этот товар отдавать - солону надо есть. Не научились еще дети у нас.

- Научатся, - говорит скупщик хладнокровно.

Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости.

Мне пришлось однажды зайти в дом кустика. Он сидел, больной, на своей постели, встретив меня каким-то лихорадочно-беспокойным взглядом. Разговаривая, он все посматривал в окна и на двери.

- Вы о чем-то беспокоитесь? - спросил я.

- Беспокоюсь, верно. Баба у меня с образцами послана. Болен сам. Это в нашем деле, господин, беда большая, что бабу послать к торговцу... Запугивают их... Ну, вот идет, кажись, погоди-ка...

В избу вошла молодая женщина, села в изнеможении на лавку и как-то виновато опустила руки на колени.

- Почему? - спросил мужик угрюмо.

- По шести,

- Так и знал. Это, господин, пятаком дешевле самой низкой цены. Говорил ведь я цену тебе?

- Не берет. Нипочем, говорит, завтра этот товар не возьмут, в последнее и брали.

И вдруг, как-то встряхнувшись и вытирая рукавами слезы, молодая женщина заговорила с истерической торопливостью:

- Да еще дает пять с полтиной и смеется: "Бери, грабь, загребай с меня деньги лопатой". - "Полно, говорю, вам над беднотой над нашей смеяться, Василь Василч! Какая это цена!" - "Да ведь отдают!" - "От нужды отдают, мол. Плачут, да отдают!" - "Какая, говорит, ваша нужда: в своих домах живете, в калошах ходите, по праздникам белый хлеб покупаете. Вот будет нужда, как в прочих местах уже дошел народ: по пяти семей в одну избу натолкаетесь, на десять человек одна шуба, а о пшеничном хлебе и думать забудете".

Женщина посмотрела на меня и на мужа обезумевшими, испуганными глазами.

Мне нужно было повидать одного знакомого скупщика и сказать ему несколько слов, но кругом была тесная толпа...

Я видел через головы освещенное огнем лицо моего знакомого и надеялся, что меня подвинет к нему общее течение. Но в это время какой-то рослый деревенский кустарь, которого образцы были забракованы скупщиком, стал пробиваться из толпы, прижимавшей его к прилавку. Я видел, как с величайшим усилием он ворочал спиной и задевал кошелем по лицам ближайших соседей. Те лишь беспомощно отворачивали лица, так как рук поднять не могли. Вдруг прилавок затрещал, фонарь на нем вздрогнул, толпа колыхнулась, и совершенно неожиданно я увидел почти у самого своего носа красное лицо с вытаращенными глазами.

Оба мы очутились на середине улицы. Кустаря, повидикому, нисколько не смутил этот пассаж, и только узнав меня, он несколько сконфузился.

- А что, Аверьян Иванович, - засмеялся я, - пожалуй, ему теперь, действительно, весело смотреть на вас.

- Просим прощения, помяли вас маленечко. Что и говорить: большое ему удовольствие. Не повредил ли, упаси господи, вашей милости.

- Это все пустяки. Но скажите, неужели трудно устроить дело иначе, чтобы всем было легче подходить: по очереди, с одной стороны?

- Да оно, конечно. Суюмся мы, все равно, как слепые мухи. Я уж вам докладывал: темнота наша. Однако, надо мне бежать к другому огоньку, к Портянкину Сеньке. Давал он по шести с пятаком. Надо отдать пойти, пока не закупились. Сейчас я вас разыщу.

Через четверть часа он, действительно, нагнал меня, и мы вместе пошли по темным улицам, на которых я насчитал около тридцати скупщицких огней. Из них только пять или шесть принадлежали крупным местным торговцам; остальные светились на столиках, поставленных где-нибудь на улице, под стенами домов. За такими столиками торговалась мелкота, вроде моего знакомого по постоялому двору, а кое-где мастера-кустари, присоединяющие к работе за станком также и скупку. Это та часть кустарной массы, где мелкий скупщик еще не вылутился окончательно из мастера. Вот он принанял двух-трех рабочих; ему повезло, он нанимает еще. Сколотив несколько десятков лишних рублей, он начинает скупать товар у других кустарей и в один из понедельников зажигает огонь и садится за столик. Почти все огни, горящие теперь в крупных кладовых, загорались таким образом на маленьких столиках, прямо из-под горнов кустарей.

Аверьян называл мне имена этих торговцев, сопровождая свои объяснения бесцеремонными прибаутками и крепкими словцами. Вообще, видимо, и он, и другие кустари, кучками собиравшиеся теперь на улицах, после того, как они отдали образцы, относились к этой мелкоте с большим презрением. Впрочем, и из торговцев покрупнее редкого звали за глаза иначе, как Петькой, Васькой или Митькой.

III. Человек, который срамит свое звание

- Этому вот милостивому государю кошку дохлую на прилавок бросили,- сказал Аверьян, останавливая меня невдалеке от одного огня.

Милостивый государь, которому кустари выразили таким оригинальным образом свое внимание, сидел за своим прилавком, сохраняя выражение такого достоинства в лице, как будто ему никто и никогда не бросал на прилавок дохлых кошек. Только когда к огню подходили кустари, которых здесь было меньше, чем у других, и которые, отходя, ругались бесцеремоннее, в его лице и фигуре проявлялась неожиданно какая-то чисто ноздревская подвижность, беспокойная и как будто даже злая.

- Горшок еще с кашей на ворота повесили на-днях, - прибавил из темноты какой-то кустарь к сообщению Аверьяна...

- Ну-у?

В восклицании Аверьяна слышался восторг.

- Ах, ты, братец мой! Да кто ж это ему, а?

- Да уж кто ни сделал, а сделали, - политично ответил кустарь, придвигаясь к нам и отчасти опасливо, отчасти с любопытством поглядывая на меня.

- Приезжие будете?

- Приезжий.

- Торгуете?

- Не торгует он... Посмотреть наши порядки приехал, - перебил Аверьян. - А ты, дядя, не опасайся, говори, ничего.

- Нам что опасаться, наше дело сторона, а что действительно горшок на воротах висел, сами видели.

- С пшеном, что ли?

- Ну, ну!

- Молодцы, ребята! Ну, а он что же?

- Леший его знает. Чай, велел снять, да ссыпал куда. Потом нашему же брату опять на треть отвалит...

Аверьян отвел меня несколько в сторону, кустарь, сообщивший о горшке, последовал за нами, а через минуту к нашей группе присоединилось еще несколько человек, освободившихся уже от образцов.

- Этак-то лучше, все-таки, - сказал Аверьян, оглядываясь на отделившийся теперь огонек. - Как бы не услышал. Ему ведь я ноне образцы-то отдал.

- Видите ли, господин, - обратился он ко мне. - Теперь вот скупка у нас идет, а вот рассветет начисто, начнется приемка. Понесем товар по образцам сдавать, да деньги получать по расчету, сколько кому причтется. Тут вот главная-то у нас путаница и пойдет.

- Товар, что ли, бракуют?

- Бывает и это. А главное в расчете. Променом, вот, донимают, да третьей частью. Сейчас, например, разделявает он десять человек, приходится на всех сто рублей, да еще там сколько-нибудь. Вот вынимает он сотельный манет и дает одному, - разделявайтесь, ребята, как знаете.

- Это мы так говорим, что связал он нас сотельной бумажкой,- пояснил другой кустарь из кучки. - Теперь, чтобы развязаться, надо ему по две или хоть по полторы копейки отдать промену. Редкий у нас скупщик без промену торгует.

Я вспомнил, что уже читал об этом своеобразном явлении павловского рынка. Исследователи останавливались перед ним в недоумении. Действительно, при условии конкуренции между скупщиками, легко сообразить, что в общем, все-таки, масса сделает соответствующую поправку и скупщику, торгующему с променом, станет продавать дороже, чем тому, кто платит без вычета. Эти соображения я высказал и кустарям.

- Так-то оно так, - сказал один. - Да ведь поди-ка каждый раз усчитай, сколько оно там придется. Иной, конечно, смекнет, а другой и ошибется.

- Мутную воду любят, вот что. Намутит, напутляет, да тут счистит пятак, там утянет другой, - глядишь, уж и гривештик. Конечно, не разживется этим, а нашему брату иной раз просто слезы с ними, с путаниками. А то еще так делают, вон как Кульков. Тот уж и рассчитывает с променом. "Вот, мол, вам, ребята, следует столько-то, да промену с вас столько-то. Получите". Да опять ту же сотельную в руки. Как, мол, так, и промен взял, и не меняешь, такой-сякой? - "Да ведь вы уж с меня, дескать, за промен подороже и берете, а денег помельче у меня нет. Ступайте вот к Рогожкину, он вас развяжет". А Рогожкин сродник и благоприятель, опять с нас за развязку по полторы копеечки утягивает. Вот таким способом с нашего брата по две шкуры и спускают.

- Ну, а горшок с пшеном тут при чем же?

- А это опять статья особая. Горшок обозначает другое. Это, господин, насчет третьей части. У которых скупщиков свои лавки есть, те при расчете третью часть товаром выдают, чаем там, железом, а Портянкин вот пшеном стал выдавать. Цену-то ставят дорогую, а товар дают самый последний.

- И опять вам это легко сообразить и прикинуть в цене,

- Ну, не-ет. Тут уже ему приволье, тут его не уследишь, все одно шуку в мутной-то водице. Сейчас он, например, чаем выдает. Подите-ка, поспросите по Павлову, какой чаек, дескать, пьют кустари, в какую цену? Все по два рубля, не менее-с. И сами скупщики тоже говорят: господами живете. Какая бедность! Чаем все двухрублевым балуетесь! А вы, господин, этого чаю и в рот, пожалуй, не возьмете, вот он нам какой двух-то рублевый достается. Ну, конечно, надоест. Смекнем тоже, начнем и сами цену выправлять на замках. Глядь, уж у него чаю и нет. "Пшено, говорит, ребята, у меня о-отличное". Ну, отличное не отличное, а все по началу ничего, есть можно. А как во вкус-то народ войдет, он закупит гнили, да в два-три понедельника в народ и пустит. Смотришь, хворают у нас ребяташки от каши, а наконец того замечаем, уж и куры от этого пшена дохнут. Вот за это за самое и повесили Портянкину горшок.

- Для сраму, значит, - добродушно пояснил из кучки какой-то старичок с серенькою бородкой и моргающими глазами.

- Вы, Аверьян Иваныч, ему, кажись, сегодня образцы сдали?

- Да ведь вы вот не взяли, - шутливо отвечал Аверьян, - кому ж мне и сдавать-то?

- Да это что, - как-то грустно сказал серенький старичок, моргая глазами и улыбаясь... - Промен там или треть - это редкий скупщик не пользуется. А ведь Портянкин этот прямо отъемом еще берет.

- Верно, отъемом тоже... бывает...

- Как еще?

- Что вы все как да как? - резко сказал Аверьян, несколько сконфуженный раньше моим замечанием. - Да просто, как вот на большой дороге, - отнял, да и все тут.

- Закинет товар в кучу, - пояснил старик, - навалит еще на него; потом, при расчете, полтину или семь гривен и не додаст. - Как так? тут, мол, не все. - "Знаю, говорит, что не все, да я тебя, подлеца, сколько ждал, ты все не шел, так вот штраф с тебя. А ежели, говорит, несогласен, - пошел, бери свой товар да убирайся, места у меня не простаивай". А где его разыщешь, в куче? Да и скупка кончилась. Заплачешь или обругаешься, да с тем и уйдешь.

- А то еще на гуся берет, - опять после короткого молчания выступил старичок, и на этот раз на его сером лице появилось что-то вроде улыбки.

- Ну-ну, - подтвердили другие.

- На гуся, ей-богу, с меня взял. С зятем я был, с Тимошей. Рассчитал нас, ан рубля с четвертаком нет. Неверно, мол, Семен Семеныч. А у нас, господин, обычай такой, что к празднику, к Вознесеньеву дню, гусей мы покупаем. Так вот и говорит: гуся я ноне купил, да гусь-то, говорит, поджарай.

Все, даже и сам старик, засмеялись.

- Поджарай, говорит, а цену я дал за него хорошую, полтора рубля. Так вот на гуся с вас теперича я, говорит, и отчисляю. Четвертак еще вам уступки делаю, на бедность на вашу.

- Это уж не со всяким сделает, - сказал, протискиваясь плечом, низкорослый широкоплечий парень с черными сверкающими глазами. - На меня бы, я б ему, подлецу, в этом случае такого гуся показал... С дураками, господин, этак-то можно.

- Чего с дураками! - заговорило несколько голосов зараз. - Сам больно умен. Небось ребятишки пить-есть запросят, да как на неделю-то муки да соли не хватат, тут и сам накланяешься.

- Не увидит от меня этого, - сказал парень, поводя своими глазищами, в которых горело выражение страшной ненависти.

- А ты послушай, паренек, не знаю, как тебя звать. Я тебе скажу присказку, - сказал Аверьян. - Отхватил как-то котище ухо у крысы одной. Села крыса в норе и плачется. Как тут подбегает к ней мышонок, да давай над ней же смеяться. "Эка, говорит, дд-у-ура! Ухо коту отдала. Да на меня бы, да я бы!.." Откуда ни возьмись на те слова котище тут как тут. Сцапал мышонка в рот целиком и держит в зубах, только хвостик мотается. "Что ж ты, миляга? - говорит тут крыса из норы.- Ты бы, чудачок, не дался. Чать, сам-от дороже уха. Ухо мое - куда ни шло..."

Все засмеялись. Парень плюнул и быстро пошел прочь. Старичок как-то передернул плечами и прибавил со вздохом:

- Да, по-нашему так-то: что смиреннее, то и лучше.

- Как не лучше, известно, лучше, - подхватил Аверьян. - Шел как-то один по дороге. И попадись тут навстречу грабитель: "Давай, говорит, пальто". А мужичок этакой же смиренной был. Снял пальто и говорит: "Спасибо, мол, мне же и легче". - "Вот оно что, - говорит охальник. - А я и не знал, чем тебе угодить. Так скидай же, милый человек, вдобавок, и жилетку..." Однако, господин, пожалуй, и скупке скоро конец, а архиерея вы нашего еще не видали. Пойдем-ка-те, я вам самого главного покажу.

- Это к Дужкину, значит, - сказал кто-то в кучке кустарей, расступаясь, чтобы дать нам дорогу. - Что ж, посмотрите, господин. Ноне он сам сидит.

Мы с Аверьяном пошли вниз по улице. Сверху, над крышами, немного светлело, ветер становился пронзительнее, и изморозь крутилась порывистее и сильнее.

IV. Светлое явление на Павловской улице

На одном из углов Стоялой улицы помещается винный склад братьев NN. С одним из них я именно и ехал вчера в Павлово. Склад уже был открыт; из-за горки с разноцветными бутылками, выставленными в окне, яркий огонек светил на улицу, освещая то фигуры проходящих, то одни снежинки изморози, крутившиеся в темноте.

- Эх! Вот где милостивые-то люди живут, - услышал я за собой тихий возглас, когда мы приблизились к складу.

Я оглянулся с невольным изумлением. Говорил маленький старичок с острой бородкой и в женской шали, тот самый, у которого Сенька взял на гуся рубль с четвертаком, уступив ему четвертак на бедность. Теперь глаза смиренного человека умиленно смотрели на освещенные окна и стеклянную дверь винного склада братьев NN.

Я невольно посмотрел туда же. У прилавка стоял мой вчерашний спутник, молодой еще человек; лет тридцати, в пальто и мягкой шляпе. Два приказчика, почтительно наклонившись из-за прилавка, о чем-то разговаривали с хозяином. Оба были одеты прилично и обладали спокойными манерами сознающих свое достоинство "городских" сидельцев. По стенам стояли рядами бутылки разных цветов, величин и калибров, - каждая за бандеролью, - и вся картина ярко освещалась несколькими лампами... Контраст с подвалами скупщиков, правда, был значительный, но я все-таки продолжал с недоумением оглядываться, разыскивая глазами - к кому бы здесь могло относиться название милостивых людей...

Не было сомнения - "благодетели" стояли у прилавка винного склада, и я испытал невольное разочарование. Воскликание смиренного человека пробуждало во мне надежду, что, наконец, среди этих жестоких картин я наткнулся на "светлое явление". И вдруг - в качестве светлого явления - чуть не кабацкая стойка!

- Вино, что ли, дешево продают? - спросил я не без некоторой жесткости в голосе.

Смиренный человек потупился.

- Бывает, конечно, и винишко тоже покупай, - сказал он своим угасающим голосом, смиряясь еще более... - Тоже когда, - и выпьем, грешное дело... Бывает это, что говорить напрасно.

Очевидно, мысли смиренного человека направились в сторону "самообличения". Но из объяснений Аверьяна я понял, почему виноторговля братьев NN составляет в Павлове "светлое явление", - до известной степени совершенствующее павловские понятия. Стоит, например, нескольким мастерам, "связанным" одним сотенным билетом по тому способу, как описано выше, зайти в виноторговлю, и их "развяжут" бескорыстно. Это восхищает мастеров, за это косятся торговцы, лишаящиеся грошового барыша, а главное, сознающие некоторую деморализацию, вносимую этим примером.

- Уж мы и то удивляемся, - пояснил смиренный человек..- Возьмите, мол, с нас хошь, скажем, полтину, мы ничего, мы со всяким удовольствием, потому - прочим надо отдать полтора, а то и два...

Глаза смиренного человека улыгнулись, и он прибавил с радостным изумлением:

- Не-ет. Не берут! Конечно, нижегородской народ образованной! У нас, говорит, не меняльная лавка! Есть, говорит, в выручке - разменяем. Нет - не взыщите! А ни за что деньги брать - это надо самим срамиться и хозяина срамить. Мы, говорит, не согласны.

Я невольно опять посмотрел в окна склада. В это время в лавку вошли двое покупателей - какой-то молодой человек в пальто, вероятно из торговцев, и деревенский крестьянин, приехавший на базар с возом. Младший приказчик с спокойным изяществом обратился к мужику, который вошел первым, и, сняв с прилавка посуду, подал покупателю. Старший принял деньги и выдал сдачу.

Все это было мне так знакомо и так обычно: мало ли приходилось видеть винных складов и магазинов с такими же вот сидельцами, и таких же хозяев, вроде моего вчерашнего спутника. Но теперь я глядел на все это с павловской Стоялой улицы, и все представлялось мне в каком-то новом свете. Я вспомнил рассказы вчерашнего моего спутника о Париже. Теперь сам он казался даже и мне представителем какого-то другого мира. Как будто здесь, на этом самом месте, должно бы, по-настоящему, стоять "царское кружало" времен по крайней мере Алексея Михайловича. Эти ряды бутылок, обезличенные, заранее обандероленные и ждущие такого же безличного покупателя, эта спокойная вежливость вместо хищной настороженности и готовности вступить с покупателем в ожесточенную борьбу, которая теперь целым рядом поединков между каждым скупщиком и каждым мастером кипела на всем протяжении кустарного села, - вот что, очевидно, отличало этот обильно освещенный уголок от остального Павлова, выделяя из общего фона.

- Ну, идем, что ли! - вывел меня из задумчивости Аверьян, не понимавший, конечно, моего настроения. - А то опоздаем!

И его дюжая фигура нырнула в темноту. Смиренный человек, кинув умильный взгляд в сторону "милостивого" учреждения, последовал за нами.

V. Человек, соблюдающий свое звание

Скупка кончалась. Кустари, сдавшие образцы, беседовали кучками на улицах в ожидании приемки. У огня Дмитрия Васильевича Дужкина народу было несколько больше, чем у других. Но и здесь, в освещенное пространство то влетали вдруг целые кучки темных силуэтов, то опять так же быстро снимались, и огонь светил с косогора на улицу полным светом. По большей части это приходили мастера, обегавшие уже остальные огни и возвращавшиеся сюда, чтобы отдать за предложенную ранее цену.

- Ну, вот глядите, - сказал мне Аверьян, осторожно останавливая меня за рукав в затененном месте, куда не хватал огонь с прилавка.

Но в это время последние фигуры перед огнем опять исчезли, и из-за прилавка к нам повернулось сухое лицо с вытянутым носом, тонкими, но широкими и характерно сжатыми губами и небольшою бородкой, странно торчавшею от самого горла. Два черных выразительных глаза уставились в меня чутко и пытливо. Мне стало неловко от этого пристального взгляда, хотя я и не знал, действительно ли он видит меня в темноте, или просто повернулся на шорох. Аверьян тоже как будто смутился. Он отодвинулся от меня, стянул горстью шапку с головы и выступил на свет.

- Возьмите, что ль, образцы у меня, Митрий Василич?

В тоне шутника-мастера я не мог разобрать, заискивает он у скупщика или насмехается над ним. Может быть, даже - для меня он насмехался, для того, к кому обращался, - заискивал.

Голова на тонкой шее повернулась к нему, в него уставились черные глаза, глубокие и страстные, и скупщик сказал сдержанно и сухо:

- Проходите мимо, не требуется.

И опять с какою-то странною торопливостью, точно два насторожившиеся зверька, глаза его перебежали в мою сторону.

Аверьян отошел, почесывая в затылке, между тем как к прилавку опять подходили рабочие.

- Сердится все, вот уж которую неделю, - говорил он мне, останавливаясь невдалеке и озабоченно оглядываясь назад. Было заметно, что гнев этого человека с лисьим лицом и острыми глазами беспокоил даже беззаботного Аверьяна.

- Ну, да нам тоже больно-то и наплевать. Не привыкать нам, Щетинкиным, к ихнему гневу.

Он тряхнул головой и прибавил уже с прежним веселым оттенком в голосе:

- Отца-покойника годов десять и к прилавку не допускал.

- За что?

- Все за язык. Больно, говорит, востры Щетинкины эти, зубасты. Покорность любит... Меня, говорит, мастерством не удивишь, я, говорит, себе из последнего мужика мастера сделаю, а лучшего мастера ни в грош поставлю. У меня своя наука... Да, - сказано Дужкин, так Дужкин и есть... Гнет не парит, ломает - не жаль. А уж ежели через руки его прошел, так весь век из его рук и смотрит. И то сказать, - прибавил кустарь со вздохом, - нашего брата не научи, мы и хлеба, пожалуй, есть не станем.

- Так вы бы, Аверьян Иваныч, язык попридержали... Пошли бы тоже в науку...

- То-то вот, говорил раз гусь свиненку: почет нашему брату оказывают, на барский стол на блюде носят. А свиненок и отвечает: тебе пускай почет, а уж мы таковские, и в грязи поваляемся. Отец-покойник, бывало, в сердитый час примется меня трепать. "Оверька, говорит, каторжный! Когда я тебя, проклятого, научу, чтобы ты хорошим господам уважил? Держи, подлая душа, язык за зубами". А я ему: "Ладно, батюшка. Этак же, читал я в книжке, учил старый рак своего подросточка: "Что ты, окаянный, все задом пятишься? Ступай передом". - "Ну, мол, тятенька, прогуляйся сколько-нибудь сам, а я уж за тобой, не отстану..." Сам таковский был. Сам сколь, бывало, ни укрепляется, все не выдержит. Раз было совсем в милость к Митрию Василичу попал. А наконец загнул-таки словцо... на десять лет после того к Дужкину и ходу не было.

- Что же такое он сказал?

- Приносит раз образцы. Так и так, Митрий Василич, возьмите-ка замочков. - "Ладно, мол, Иван Елистратыч. А как цена?" - "А вот как, - отец отвечает, - по семи гривен". - "Нет, дорого, ноне на двугривенный меньше". - "Невозможно, мол. Мне обида, а вам, пожалуй, много лишку этак сойдет". Ну, это еще ничего. На это слово Митрий Василич отвечает: "Вы, говорит, мастера и все этак: торговец грабит, торговец лишку берет! А того не сообразите, что торговцу побольше вашего и требуется". - "Это как?" - отец спрашивает. А между тем, народу круг прилавка много... - "А вот как, - говорит Митрий Василич, - отвечай по правде: ты за сколько душ подати несешь?" - "Ну, мол, за три, что дальше-то?" - "И те, небось, в недоимке?" - "В недоимке, мол, не потаю". - "А я за пятнадцать вношу в правление полностью и недоимки на мне не бывало. Что ты скажешь на эти слова?"

У отца борода торчком стала, да сам, все-таки, боится ответить.

- Вот что, говорит, Митрий Василич, сказал бы я тебе слово, да ты рассердишься.

- Не осерчаю.

- Ан осерчаешь!

- Говорят, не осерчаю.

- Побожись!

Побожился при народе. Потому что - насчет слова любопытен он до крайней степени. Ну, отец и говорит:

- Умный ты человек, а на этот раз я тебе ответить могу. Теперь я стану спрашивать, а ты отвечай...

- Ну, мол, хорошо. Я тебе всегда отвечу.

- Много ль годов ты у меня замки покупаешь?

- Да лет, мол, с десяток будет.

- Так. Две части даешь деньгами, а третью железом из лавки?

- Верно.

- Почему железо ставишь?

- По рублю по восьми гривен.

- А сам помногу ли в Нижнем покупаешь?.. Хоть говори, хоть не говори, сами знаем: по восьми гривен стоит тебе с провозом. Значит, что рублю лишку тебе с меня на каждом пуде сходит. Ну-ка, прикинь на счетах, сколько тебе с меня за десять-то лет сошло? Вот мои и подати!.. Тебе я их вношу полностью, а в правление еще не донес.

Промолчал, только еще желтее стал. Да десять годов после этого отца к прилавку и не допускал... Вон он какой, Дужкин, Митрий Василич. И заметьте: с того ли отцова слова, с другого ли чего, а только промену не стал брать, ни из третьей части не торгует. Купит, деньги отдаст, в расчете никогда не обидит. На это, нечего говорить, аккуратен.

Он помолчал и прибавил:

- Звание свое соблюдает! Скупщиком не велит звать. "Торговец павловского изделия"... Сам срамников не одобряет. "Бестолковые, говорит, выгоды на грош, а между прочим, сословие срамят".

VI. Одна из форм павловского кредита

- Однако, господин, прощения просим. Мы тут с вами болтаем, а люди уже и товар сдают. Вон уж и Портянкин огонь погасил. Итти надо.

- Рано еще, гляди, - сказал смиренный человек. - Чай еще станут по домам пить...

- Чего рано тебе!- раздался вдруг около нас бойкий женский голос. - Чего тебе рано, тебе все рано!.. Только вот стоять на улице, да зубы скалить. Ну, ну, пошевеливайся! Сдал, что ли, образцы-то?

И бойкая жена смиренного мужа, протиснувшись плечом между мной и Аверьяном, схватила смиренного человека за рукав и стала теревить из стороны в сторону.

- Сдал, что ли, образцы-то? Говори, говори, мучитель!

- Сдал.

- Весь товар продал?

- Весь.

- Ну, слава-те господи, владычица небесная!.. Что ж ты торчишь, коли так? Ступай, ступай... К Овсянкину еще надо...

- Да ты того... Аннушка,- роптал смиренный человек, слегка упираясь.- Еще настоишься на холоду, что ты, бог с тобой, торопишься?

Аверьян, с большим вниманием наблюдавший эту сцену, толкнул меня локтем.

- Эй, тетка! - крикнул он вслед расходившейся бабенке.- Много ли под тебя Овсянкин дает, под этакую бойкую?

- Да уж много ли, нет ли,- обернулась баба, скаля белые зубы и не выпуская в то же время из рук покорного мужа,- а всё мы чего-нибудь стоим, бабы-те. Вас вот, небось, пьяниц, и в залог не принимают.

- Закладывать бабу повел,- мотнул головой Аверьян в сторону удалявшейся пары.

И он объяснил мне, в чем дело.

В один из прошлых базаров смиренному человеку не удалось сдать свой товар за сколько-нибудь подходящую цену. На этот случай в Павлове есть два-три благодетеля, готовые выручить человека за скромное вознаграждение в размере двух процентов в неделю. Один из таких благодетелей, Овсянкин, к которому сейчас направились супруги, оказал кредит смиренному человеку, конечно, под обеспечение того же непроданного товара. Теперь, сдав образцы, мастеру предстоит взять товар у ростовщика, сдать его скупщику, получить деньги и расплатиться со своим кредитором. Но так как должник, очевидно, не пользуется особым доверием благодетеля, то последний не отдает ему товара, пока не получит долга. Из этого безвыходного положения павловская практика нашла, все-таки, выход: смиренный человек оставляет под залогом... свою законную супругу, которая дожидается на холоду, у крыльца ростовщика, пока муж сдает товар и рассчитывается с скупщиком.

- Этакой-то залог еще вернее,- прибавил Аверьян.- Поди-ка он теперь, замешкайся или наипаче - в кабак,- сохрани господи,- заверни! Да она ему, на холоду-то настоявшись, голову за этакое дело сорвет. Что, небось, господин, вам это удивительно? - спросил Аверьян, поглядывая на меня исподлобья иронически прищуренными глазами.- Я чаю, в прочих местах вы про этакое дело и не слыхивали?

На этом мы распрощались с Аверьяном. Он отправился к Портянкину, а я пошел на свою квартиру, на постоянный двор. Совсем уж рассвело, хотя солнце всходило неизвестно где, за туманными холодными облаками. Я был уже на лестнице, по которой с таким трудом взбирался ночью, когда над Павловым раздался первый хриплый удар большого колокола.

Мои нервы были напряжены частью от бессонницы, частью от зрелища этих своеобразных форм кустарного быта, так свободно распускающихся на павловской почве, наряду с цветками в "собственных садиках" кустарей. Поэтому я быстро взбежал вверх, разыскал свою дверь и, отказавшись от самовара, кинулся на диван в опустевшей комнате, где ночью спали валенчики. Мне хотелось тотчас же заснуть, пока еще в голову не полезли назойливые мысли обо всем, что я только что видел.

Но, едва успев задремать, я опять внезапно проснулся, как будто кто назвал меня по имени.

В комнате, тщательно прибранной после ночного беспорядка, было совершенно тихо. Тикали часы, где-то за дверями женщина убаюкивала ребенка, напевая вполголоса песню. Очевидно, меня старались не беспокоить тем не менее, я понял, кто меня разбудил от начинавшейся дремоты: удары большого колокола один за другим глухо толкались в тусклые окна, и стекла в старых рамах как-то жалобно звенели в ответ.

Я зарылся с головою в подушки. Но и тут как будто от стен или откуда-то из-под полу все бухали надтреснутые, больные звуки.

И вместе с ними в голове толпились фигуры, сцены, разговоры скупки, толпились беспорядочно и назойливо, как это бывает в бессонницу. И, наконец, как это тоже бывает иногда, я пришел к неожиданному, но вместе неотразимому заключению, состоявшему в том, что мне необходимо познакомиться с Дмитрием Васильевичем Дужкиным.

VII. Легенды о благодетельных скупщиках

Мы видели, как балагур Аверьян объяснял происхождение скупщицкого сословия: первый огонек в первом скупщицком подвале зажжен врагом человеческого рода, который теперь, в холодные зимние утра, после

воскресенья, простирает над скупкой свои темные крылья, смотрит на смятенные павловские улицы, на которых мечется испуганный народ, на огни у входов в подвалы, слушает взаимные покоры и проклятья, любуется делом жадности, вражды и раздора, плодами своей выдумки. А надоест на улицы любоваться - взмахнет лукавый темными крылами, летит на Троицкую, на Семенову гору, где в домах тускло светятся всю ночь огоньки, где "напуганные" бабы ожидают мужей, где у домов благодетелей-закладчиков дрожат заложенные дети...

Один павловский старожил, человек, стоящий по уму и развитию выше кустарной массы, рассказывал мне эту историю более реально:

- Был в давние годы в Павлове Белозеров, знаменитый по округе боец ("Боец" - особенность павловского говора.). А в то время в Павлове жили свободно, больше достатков было, и веселились больше, утешаясь кочетинными да кулачными боями. А за замками покупатели наезжали из Москвы и из других мест сами; замок был в цене, за мастерами покупатели ухаживали: пожалуйста, мол, сделай ножей или замочков. "А сколько тебе, добрый человек, надобно?" - "Да дюжин, что ли, хоть двадцать". - "Что больно много? Будет тебе половину, другим тоже нажать сколь-нибудь надобно..." Вот как, по преданию, тогда разговаривали мастера. Наезжали московские купцы в Павлов, хлеб-соль с мастерами водили, и между прочим уважали кулачные бои. Любит московский купец хорошую "стенку". Белозерова они полюбили и стали выписывать в Москву. А потом один купец, Егоров, и научил любимца: покупай павловский товар да вози сюда. Он и стал покупать. Давно это было, еще до француза. После француза кинулись за Егоровым другие... И долго фамилия Белозеровых стояла во главе павловской скупки...

Как бы то ни было, вскоре после того, как один за другим загорелись скупщицкие огни, почувствовали павловцы, что где-то и в чем-то дали они крепкого маху. Исчез от их глаз покупатель, перестал появляться в Павлове, заслонили его стеной свои доморощенные "скупщики", и быстро над деревянными домами поднялись каменные палаты... Пожар от мелких искр, разлетевшихся с Семеновой горы, разливался все шире и шире, ставились горны, укреплялись тиски, и пилы заводили свою скрипучую песню по деревьям, по селам, по мелким поселкам. Забыли кустари то время, когда покупатели наезжали к ним, и кланялись, и просили. Теперь сами они слетались уже на огни скупщиков, как слепые мухи на пламя свечи...

И все свои невзгоды мастер олицетворил в скупщике. Далекий рынок, с его меняющимися настроениями, с его колеблющимся спросом, безличный, бесстрастный и стихийный, как океан, исчез от глаз. Между ним и кустарным селом стала фигура соседа, скупщика, юркого, пронырливого, вечно настороже, готового воспользоваться малейшим промахом, неудачей, нуждой... Он явился для Павлова представителем того процесса российской коммерции, которая давно уже выработала известное правило: "не обманешь - не продашь".

Кустарная масса помнила, что там, назади, где-то недалеко, оставлена какая-то возможность иного "мирского" уклада. Так, порой, когда дорога впереди становится все уже и неудобнее, сбившийся путник смутно вспоминает, что недавно было распустье, и начинает догадываться, что он выбрал не то направление. Но вернуться уже трудно... Масса темна, мудрено ли, что все свои беды без исключения она тотчас же приписала скупщику.

На берегу Оки, спускаясь своим грузным подножьем к самой воде, стоит огромное белое здание, состоящее из двух корпусов, связанных поперечною галлереей. Балконы этого дома свесились на реку, а нижняя часть без окон, с тяжелыми воротами, приспособлена как будто к защите от каких-то нападений, может быть, от нападений весеннего половодья, когда волны буйно плещутся в стены, а, может быть, и от чего другого... От здания веет стариной, грузною основательностью, презрением к пустым украшениям и какою-то мрачною опасливостью... Не строят теперь таких палат павловские богачи, и старинное хмурое здание как будто посмеивается над вычурною претенциозностью соседних новейших построек с башенками и лепными карнизами.

Теперь павловские старики смотрят на эту старинную хоромину и вздыхают...

Это - акифьевские палаты. Богаты и славны были Акифьевы и высились над всеми остальными богачами, как высится теперь над селом их старинное жилище. Много молотков стучало, много работало горнов, и пил, и рук мастерового народа, созидавая это богатство. По Павлову и окрестностям, говорят, ходили даже акифьевские деньги, и не поминают теперь стариков Акифьевых иначе, как добрым словом: "Вот были торговцы, вот были коренные благодетели народу!" При ком стояли высокие цены? - при Акифьевых. Кто расплачивался с мастеровыми, не утягивая трудовых копеек? - Акифьевы! Кто помогал в нужде мастерам, "подошедшим", как говорят в Павлове, от болезни, пожару или иного невзгодья? - все они же, Акифьевы! Когда в голодный год торговцы стакнулись и подняли цену на муку до рубля пятнадцати копеек, Акифьевы выписали из дальних мест огромную партию хлеба и пустили ее на базар. Акифьевы рубль - и торговцы, хочешь не хочешь, до рубля подаются. Акифьевы восемьдесят пять, торговцы тоже восемьдесят пять. Догнал старик таким способом цену до шести гривен. "Ну, мол, теперь, ребята, сами покупайте".

Вот какими рисует Акифьевых народная память, когда Акифьевы отодвинулись в прошлое.

На Троицкой круче, которую я описывал уже в начале моих очерков, несколько раз впоследствии приходилось мне сидеть в тихие вечера со стариками-мастеровыми. С Троицкой кручи хорошо смотреть на село, на реку, на дальние села и на синие леса, дремлющие в дальних туманах... Хорошо отсюда старикам смотреть своими тусклыми глазами и в глубь воспоминаний. И прежде всего, эти воспоминания останавливаются на белом акифьевском доме.

- Выйдет, бывало, старик на крылец, на ту вон галдарейку, что над водой свесилась, выйдет божий старичок ранним утречком... А вдоль по берегу, вон туда далеко, до самой дальней кручи все его поленицы дров лежали... "Погляди, говорит, Аннушка,- а хозяйку его Анной Митревной звали,- погляди: вон птички божьи мою пшеничку клюют". Хе-хе-хе! Птички божьи - это людишки, беднота павловская дровишки у него грешным делом потаскивают. Ничего! Только с телегой не ездят, а на руках волоки... не препятствовал. "Птички, говорит, небесные"...

А, между тем, в свое время не было здания, которое павловцы разнесли бы с таким удовольствием, как акифьевские палаты... Жаль, что у нас на Руси прошлое так быстро исчезает из глаз и стирается в памяти. Теперь только смутные обрывки устных преданий об этой борьбе, первой борьбе кустарной массы с первым напластованием скупщицкого сословия, носятся в тумане прошлого... А, между тем, было это не так давно: не далее тридцатых годов XIX столетия. Однако, все же сохранились еще некоторые эпизоды этой истории павловского раздора. Вспоминают, старики о том, как Флягин, Черников, Цветов и еще несколько павловцев, наиболее решительных представителей бедноты, во главе с умным и настойчивым Капустиным, дерзновенно ворвались в акифьевские палаты, вымеряли все стенки, описали мебель, имущество и промысла всех богачей и представили все это в помещицью контору... Было это во времена крепостного права. Говорят, что помещик убедился этими своеобразными жалобами мира, оскорбленного нарушением равенства, и Акифьевым, Балашовым, Емельяновым, Рябининым грозила беда, если бы не заступилась контора, которую скупщики купили. Дело на этот раз повернулось на сторону богачей, а семеро самовольных приставов, производивших "буйственным и непорядочным обычаем" опись, попали даже в арестантские роты.

Но пример был показан, и за первой волной двинулась другая. Эта была спокойнее, ровнее, тише и подкатилась незаметно, но зато вернее...

На этот раз за Акифьевых принялись другие слои павловского общества. Это были крупные мастера и богатые торговцы, остававшиеся крепостными, а значит, и членами павловского мира, между тем как Акифьевы давно выкупились и приписались к нижегородскому купечеству. Может быть, тут были и те самые торговцы мукой, с которыми боролись Акифьевы, может быть, просто маленькие капиталы рвались на простор из-под давления крупных, как бы то ни было, новые враги Акифьевых соединились с беднотой, взяли на себя ее дело.

И пошли по Павлову новые раздоры, забухало кустарное село новым междоусобием. Акифьевские палаты представляли из себя нечто вроде уединенного форта в обширном городе, занятом неприятелем, а так как стоял он на купленной земле, то павловский мир решил: лишить скупщиков воды и не подпускать никого из палат к берегу... Взвыли Акифьевы, взвыли сродники их Долгановы, и Рябиныны, и Емельяновы, а мир, подбиваемый Белозеровыми, Дичковыми, Калякиными, стоял на своем: вдоль берега Оки расставлены были миряне с крепкими дубинами и гоняли от воды скупщицких людей. Присмирели богатые палаты. Темною ночью, украдучись, ползком пробирались их люди с кувшинами к реке и быстро убегали в раскрытые на тот случай ворота... Но воды, добываемой таким образом, не хватало. Надумали тогда отправлять свою бочку далеко, на Дальние кручи, за границы села, где никто не вправе был воспретить им подъезд к реке. Тогда мир решил не допускать провоз воды по улицам. И вот однажды, когда Долганов сам вез лагун воды для своих домочадцев, павловцы напали на него, опрокинули лагун и вылили воду... Приведенный в отчаяние Долганов кинулся на колокольню и ударил в большой колокол... И забухало Павлово сплошным набатным звоном... Надеялся, должно быть, Долганов поднять одну половину мира на другую, рассчитывая на самую бедноту, которую задабривали подачками, ворованными дровишками и дешевым хлебом. Но напрасно гудел с Троицкой кручи отлитый Акифьевыми же колокол: по улицам бушевала враждебная гроза, а робкая беднота оставалась в домах.

В сороковых годах, наконец, Акифьевы уступили, и так называемые "купцы" покинули или, вернее, были выселены из Павлова. Уехали Акифьевы и их сродники, а на прощание Емельянов сказал павловцам:

- Вспомните нас, дураки! Для этого дела нужны руки, да головы, да еще капиталы. Руки у вас остаются, а головы и капиталы унесем мы с собою из вашего села в другие места.

Вздохнули павловские миряне, но... замки и ножи надо было все-таки продавать, а рынок, разросшийся широко, как море, был незнаком и далек от павловцев так же, как море. И тотчас из среды того же мира поднялся на очищенном месте новый скупщицкий слой.

Увидали павловцы, что променяли кукушку на ястреба. Акифьевы были уже сыты. А теперь на их месте закипела жадная, неотъевшаяся еще толпа, освобожденная от акифьевской конкуренции и принявшаяся за то же дело. Далеко назади осталось распутье, где еще была возможность сохранить цельность мирского уклада. Павловский кустарный мир куёт, рубит, строгают и слаживает замок за замком от зари до глубокой ночи... Но куда этот замок поплывет, в какие земли, к каким народам, про то кустарь не знает...

А так как к тому времени кустарное производство разлилось еще шире, и в разных городах замок столкнулся с замком, и нож встретился с ножом, и стало им все теснее, то кустарь и падение цен от конкуренции опять отнес целиком на счет новых скупщиков. Новые богатеи опостытели пуще прежних, а к прежним несется сочувственные вздохи... "Были коренные благодетели!.."

Некоторые древние старики вспоминают еще и теперь, как в их молодые годы ходили по домам акифьевские клеветы и тихо, озираясь, повещали бедноту, что приехал Николай или Василий Алексеевичи, - шли бы ночью к акифьевским палатам. Бабы брали саночки и, будто за даровыми дровишками или щепой, прокрадывались к реке. Тут, на льду, меж пустыми зимующими барками, как воры или контрабандисты, прикрывшись рогожами, чтобы не выдал их огонек, принимали бывшие владыки павловского рынка замки и ножи, прибавляя против цен, уставленных новыми скупщиками. Кустари кланялись и вздыхали, проклиная "смутьянов".

Нигде в такой мере не сохранился прежний характер наших старинных городов и пригородов, как в этом кустарном селе... Чем-то древним веет на вас в этих узких и кривых улицах, от этих мрачных палат, от этого резкого деления на "бедноту" и "богатеев", которое вы встречаете здесь на каждом шагу. Так и кажется, что попал в семнадцатое или даже шестнадцатое столетие... Загудит вдруг набатный колокол, и подымется "конец" на "конец", улица на улицу, гора на гору...

Настоящая старина, с гольтьбой и богачами, с самодурством, с наивно-грабительными приемами торга и даже с кабалой... Только та старина была своевременная, так сказать, свежая. А в Павлове старина залежавшаяся, затхлая, сохранившаяся каким-то случаем в затененной яме. С павловской улицы и нижегородская виноторговля кажется чем-то вроде светлого явления...

VIII. Из новой истории

Пришли шестидесятые годы, приближалась воля.

В одной из узких павловских улиц, позади собора и варыпаевских палат, построенных в "патриотическом" стиле последнего времени и украшенных золотыми орлами, есть небольшой каменный домик, старинной, грузной и основательно-неуклюжей стройки, с деревянным флигелем на улицу. Совершенно случайно пришлось мне узнать, что этот домик, ничем особенным не кидющийся в глаза, отличающийся одинаково как от претенциозных "палат" богачей, так и от деревянных лачуг кустарной массы, играл когда-то в истории Павлова хотя не громкую, но своеобразную роль.

На стене во флигеле, где теперь живет вдова его бывшего владельца, умершего в 1879 или 1880 году, висит его портрет: чрезвычайно интеллигентное лицо, мыслящий взгляд, черты мягкие и несколько расплывчатые, - такова была наружность павловского крепостного крестьянина Елагина. На полках, покрытые пылью, лежат его книги. Я развернул несколько из них, - это были: "Новая Элоиза", "Дух законов". А на стене, рядом с портретом Елагина, среди старинных гравюр, изображающих эпизоды из "Павла и Виргинии", висел прекрасно исполненный портрет Роберта Оуэна...

Своеобразная история этого крестьянина-кустара, читавшего Руссо и Вольтера, преклонявшегося перед Оуэном, уходит от нас и как-то сразу покрывается полным мраком. Его бумаги, которых было много, разошлись, как кажется, по лавкам, с весовым хлебом и селедками, его сын уехал куда-то в Америку и там умер... И память его живет еще только в сердце простой малограмотной женщины, которая вышла за вдовца Елагина еще очень молодой и теперь среди нужды тяжелых будней с грустью и некоторым благоговением вспоминает о том, что целая полоса ее жизни прошла рядом с другою жизнью, непонятною и далекою от ее настоящего.

Просты, бесхитростны и слишком скудны ее рассказы. Я узнал из них, что у Елагина был в Павлове кружок единомышленников, с которыми он делился, в глухую полночь крепостного рабства, своими мечтами о воле. Они уходили из Павлова на дальние кручи, в леса и овраги, окружавшие Павлово, - читали и слушали страстные, запретные речи. Здесь они читали и обсуждали первые вести о воле, занимавшейся дальним еще рассветом над Россией. На Руси давно уже пели петухи и занималась заря, но в павловской глухой яме стояла еще тьма, и самые газеты считались чем-то предосудительным и запрещенным.

Но воля все-таки подошла, озарила она и недоумевающее Павлово... Елагин вынул из тайников свои книги, а его запрещенные речи стали раздаваться свободно. В маленьком белом домике собирался теперь по вечерам небольшой елагинский кружок, здесь обсуждались новые вопросы, вытекавшие из нового положения, читались газеты... Свет из елагинских окон светил далеко за полночь на темную улицу, и долго, вызывая недоумение в запоздалых прохожих, неслись неясным жужжанием горячие споры. А на утро новые вести, новые взгляды и мнения расходились по селу, возвещая о том, что старое кончилось.

Ближайшими членами елагинского кружка были, между прочим, Федор Михайлович Варыпаев и Николай Петрович Сорокин, два человека, которым вскоре суждено было занять видное место в истории павловского буханья. Тогда это были два единомышленника и друга. Вскоре им суждено было сделаться смертельными врагами...

Федор Михайлович Варыпаев, член когда-то известной в Павлове, но потом обедневшей семьи, начал карьеру за замочным станком, с молотком и пилою в руках. Заодно с беднотой он всю неделю стучал и

пилил от зари до зари, а в понедельник, с кошельком за спиной, метался от прилавка к прилавку, пробираясь к огням... Лукавый "заводчик", ширяя в темные часы над скупкой, видал в толпе метавшихся людишек также и эту могучую фигуру, и ненависть к скупщикам осталась в ней на всю жизнь.

После долгих лишений, тяжелой борьбы, может быть, унижений, Варыпаев пробился на дорогу. Благодаря уму, вкрадчивости и энергии ему удалось завязать непосредственные сношения с Москвою. "Ах, подлецы, ах, подлецы! - говорил по этому поводу скупщик Белозеров. - Этак они скоро с Америкой пересылаются начнут!" Посягательство Варыпаева скупщики сочли посягательством чуть ли не на божественный порядок.

Но делать уже было нечего, - Варыпаев ускользнул от их влияния; его мастерская расширилась, потом разрослась в фабрику; он вывел свою ладью на широкую воду и в этой ладье увез с собою на простор свою ненависть и стремление к мести. Рослый, широкоплечий богатырь, он обладал неопределенным, высматривающим и в то же время ласкающим взглядом, из-за которого порой только, точно из-за мгlistой тучи, сверкала неожиданная молния... Голос у него был тихий, почти детски-слабый, в котором, однако, чувствовалась возможность угрожающих нот... Говорил он мало, сдержанно, неохотно.

Очень скоро кустарная беднота почувствовала в его сердце отголоски своей ненависти и наметила его, как своего будущего избранника.

Николай Петрович Сорокин, наоборот, происходил из зажиточной семьи и имел родственные связи с богачами. Добродушно-лукавый, шумливый, самолюбивый и экспансивный, он любил и умел поговорить, знал отлично законы и охотно выказывал это знание. В его характере были тоже черты настойчивости, упорства. На своем знамени вначале он поставил слово "крестьянин", разумея под этим всю совокупность бывшего крепостного павловского мира в его отношениях к помещикам. Отсюда его либерализм, его искреннее одушевление, заставлявшее многих считать Николая Петровича Сорокина страдальцем за интересы крестьянского мира. Но теперь уже ясно видно, что Сорокин боролся, претерпевал гонения и бескорыстно, страстно, упорно стоял до конца за интересы павловских богачей в той, впрочем, их части, которая совпадала до известной степени с интересами крестьянства вообще. Как бы то ни было, шестидесятые годы подходили к концу среди легких схваток двух партий. Как прибывающая волна, растет в массе новое настроение. На сходе, собиравшемся не в полном составе, по назначению старшин, уже слышатся раскаты грозы, гудят протестующие голоса, расторгаются предписанные вперед решения. Однажды старшина Прядилов, выведенный из терпения непривычным сопротивлением, крикнул непокорному сходу:

- Что вы понимаете, орда!

Сход колыхнулся и зашумел. "Как, мы орда? мир, по-вашему, орда?" - и мастеровые буйно кинулись к старшине. Мировому посреднику удалось кое-как восстановить согласие...

На смену шестидесятым годам наступали семидесятые. Туман, поднятый падением крепостного уклада, рассеивался, положение борющихся партий определялось все более и более...

Вдова Елагина рассказывала мне, что в это время Иван Петрович Елагин, перед самыми выборами, горячо убеждал своих друзей отказаться от кандидатуры. Сам он решительно устранился от борьбы и того же требовал от других, в особенности от Варыпаева. "Обществу нужны свежие, сильные люди, - говорил он, - а мы с тобой попьем чайку в комнатах, да идем пить чай на балкон... устарили мы, не годимся..."

Может быть, силы крепостного мечтателя, действительно, ушли на грезы о воле среди глухих потемок да на беседы, - и по себе он судил о других. Может быть, он предвидел, что его кружок способен только еще более разжечь, а не утишить пламя этой вражды, разделяющей павловский мир, - вражды неосмысленной и потому неисходной. Может быть, он тоже думал о павловском колоколе, бухающем надтреснутым звоном, и о том, что колокол нужно перелить с новым металлом, а павловскому миру нужны новые идеи и новые люди, которых в нем нет налицо.

Варыпаев будто бы дал требуемое обещание и согласился содействовать полной законности выборов, отказавшись от честолюбивых замыслов. Между тем, приблизился сход 1871 года, от которого ведет свое счисление "варыпаевская партия". Здесь загадочный человек впервые развернул свои силы.

Предстояло решение важных дел, и главное из них было окончание сделки с помещиком. Вопрос этот сильно затянулся, между прочим, из-за усадебных и лавочных мест на площади. Спорные места не представляли для бедноты ни малейшего интереса,- их оспаривали у помещика отдельные лица из общества, понятно, принадлежавшие к "богачам", и из-за этого тормозилась самая сделка. Опеке малолетнего владельца эта затяжка была выгодна, так как до заключения сделки доходы с оброчных статей поступали в пользу вотчины... Зато общество много теряло. Составлялись один за другим проекты выкупа, но примирить столкнувшиеся интересы было довольно трудно.

Сколько можно рассмотреть в тумане, окутывающем этот, узел павловского раздора, кажется, что две павловские партии решились заключить перемирие, нечто вроде компромисса. Решено было, что места выкупает общество. В чью пользу? В свою,- толковал Варыпаев и беднота. В нашу,- говорили про себя торговцы. Для заключения окончательной сделки созван был сход, на котором вновь произошло бурное столкновение...

Несколько слов о том, что такое павловский сход.

На верхушке одного из семи павловских холмов есть старое, в высшей степени ветхое и облупленное здание. Это не что иное, как общественное павловское управление, своим жалким, до неприличия ободраным видом свидетельствующее о полном пренебрежении к внешности. Впрочем, и внутренность этого общественного здания немногим лучше,- общая печать некоторой затхлости и запустения тяготеет над ним, отличая его местными, чисто павловскими чертами.

Позади дома - большой двор, покатый к зданию, обнесенный заборами, поленицами дров, сараями, из-за которых смотрят во двор окна соседних домов. У здания - крыльцо с деревянным навесом, ведущее в правление. Сход собирается на этом дворе. Когда более тысячи домохозяев сомкнутся плотною кучей голов, когда на ветхом крыльце появятся сельские власти и с высоты станут "вычитывать" толпе указы или постановления, толпа загудит и мир закачается, точно море под дыханьем ветра,- вам опять кажется, что вы присутствуете при чем-то не нынешнем, необычном и старинном.

Как и на скупке, меня поразило здесь то, что павловская практика не выработала самых простых и самых удобоприменимых приемов. Как на скупке, всякий стихийно пялится вперед, пробираясь к огню, лезет на соседа, давит его и толкает, так и здесь вся толпа жмется к ступеням, откуда голос слышнее и легче достигает до слуха властей на крыльце.

- Согласны, согласны! - гудят одни.

- Несогласны, несогласны! - кричат другие, и это "согласны, несогласны" сливается вместе, переплетается, смешивается, стоит в воздухе сплошным гулом. Как это никому не пришло в голову, что удобнее опрашивать мнение отдельно,- сначала тех, кто согласен, и уже после - кто несогласен? Может быть, впрочем, это и приходило многим в голову, но ни одна из партий, стоящих у власти, не считает удобным именно для себя применить это простое средство, которое повело бы к значительно большей ясности результатов голосования. Теперь эти результаты извлекаются, так сказать, слухомером, из общего галдения; понятно, что неточностью этого приема пользуется тот, кто может... Когда же раздаются протесты, то нет ничего легче, как выставить протестантов бунтовщиками. Обе партии, каждая в свое время, пользовались этим политическим ходом против своих противников.

Сход, о котором идет речь, представлял именно такую картину. С крыльца кинуто было толпе, для выбора в уполномоченные, три имени: Варыпаева, Сорокина и Соколова.

- Согласны, согласны!..

- Несогласны! - загудела дружно толпа, покрывая сравнительно редкие голоса.- Одного Варыпаева!.. Соколова и Сорокина не надо!..

- Пиши: согласны,- сказал председательствующий Соколов.

Через четверть часа толпе, беспокойно волновавшейся и шумевшей, был прочитан приговор, в котором утверждалось избрание Варыпаева вместе с двумя представителями "богачей", которые, понятно, должны были получить перевес.

Толпа колыхнулась и кинулась к крыльцу. Старшина и писарь скрылись.

Поднялось волнение. На этот раз мир, казалось, прорывает плотины покорности [и] дело становится нешуточным.

Шумный сход разошелся поздно, и по селу пошли сразу два приговора; обе партии для подписи поднимали спящих с постелей. Но бумага "варыпаевцев" вся покрылась именами, тогда как у противной партии не набралось и половины.

В это время в Павлово приехал мировой посредник Беклемишев, и обе стороны кинулись к нему, требуя одни - усмирить бунт, другие - восстановить права большинства.

- У нас больше грамотных,- говорило правление.

- Чем же мы виноваты, - возразила беднота, - головы у нас такие же, а руки неграмотные... Неужто из-за этого мы безгласны?

Обе стороны засылали к посреднику своих предводителей. От бедноты явился Варыпаев и стал просить созвать сход для избрания старшины, которому вышел срок.

- Вы уже назначили кого-нибудь? - спросил посредник.

- Сход назначит,- ответил Варыпаев смиренно и глядя на посредника своими непроницаемыми, покорными глазами.

- Однако, все-таки...

- Может быть, станут просить, старого, не знаю...- и глаза Варыпаева стали еще мягче, еще непроницаемее.- Главное, надо соблюсти закон.

- Это верно,- заметил посредник.

В это время пришел Белозеров, самый видный из представителей противной партии, и посредник обратился к нему с тем же вопросом.

- Назначили кого-нибудь?

- Назначили,- наивно ответил тот.

- Вы назначили? - усмехнулся посредник.

- Мы назначили.

- А не сход?

Белозеров удивленно и наивно взглянул на посредника...

После некоторых переговоров сход объявили на ближайшее воскресенье... В этот день к воротам приливали все большие толпы народа. Пожарные и десятники не успевали проверять билетов, которых у многих не было.

- Народ как град посыпался,- с тревогой жаловались посреднику.- Идут без билетов, сломают ворота.

Посредник велел открыть ворота для всех, народ хлынул широкою толпой, и двор перед правлением, в первый еще раз после многих лет, увидел павловский сход в полном составе.

Это была уже полная победа бедноты. При имени Варыпаева в избирательный ящик посыпалась масса шаров. Они падали одни за другими, и звук падения становился все глуше. Но вот к ящику подошел суровый "богач" Белозеров. Его шар громко застучал в пустом неизбирательном ящике. На дворе раздался хохот.

Варыпаев был выбран подавляющим большинством.

- Мир - не один человек,- сказал он на следующий день Елагину.- Мир выбирает, надо слушаться, надо послужить миру.

С этих пор между друзьями водворилась холодность. Елагин до конца держался в стороне, и, быть может, не раз перед его спокойным взглядом потуплялись взгляды дельцов, выдвинутых новым бурным периодом павловской истории. А фигура Варыпаева надолго появилась на павловском горизонте.

В 70-х и начале 80-х годов имя Варыпаева пользовалось широкой газетной известностью, и павловское буханье того времени отдавалось по всей России. Газеты были полны описаниями павловской "классовой борьбы", и павловские "вопросы" разделяли газетные лагеря.

За Варыпаева стояли консервативные газеты, за Варыпаева был "патриотизм", "благонамеренность" и вся беднота. Варыпаев имел влияние в Петербурге, там слушали с удовольствием павловского старшину-демагога, являвшегося в последнее время в шитом бархатном кафтане, говорившего вкрадчивым голосом "простые" речи, в которых охотно признавали "голос простого русского человека". Влияние это в губернии сказывалось уже сильнее, а в родном селе это был неограниченный, почти самодержавный властитель, которого твердая рука чувствовалась во всех мелочах общественной павловской жизни.

Плохо приходилось противникам Варыпаева. Тогдашние газеты полны описанием случаев, когда их хватали не в меру усердные становые и исправники и сажали в кутузку без всяких других оснований, кроме того, что они заведомо неблагонамеренные, тогда как Варыпаев признанный патриот. Либеральные мировые посредники с трудом выручали этих несчастных из мрачных узилищ, где они содержались вместе с ворами и мошенниками... Один из бывших друзей Варыпаева, впоследствии самый настойчивый из его врагов, Сорокин, описал в одном из журналов историю своей борьбы с павловским владыкой. Кончилась она для него очень печально. Два раза собирались подписи для ссылки его в Сибирь, но оба раза "общество" отступило перед явною несправедливостью этой меры. В "Московских ведомостях" появилась громовая статья П. И. Мельникова, направленная против Сорокина. Он обвинялся в том, что будто бы "обивал пороги министров с карманами, набитыми запрещенными изданиями"... Варыпаев представлял из себя в то время знамя патриотизма и благонамеренности. Сорокина сослали административно...

Так было ранее. Теперь обстоятельства круто изменились. Варыпаев, одряхлевший, поседевший, больной - не у дел и под судом (Позже был освобожден из-под следствия.). У кормила павловского правления стали богачи. Скупщики имеют в нем важное решающее значение, а "неблагонамеренными" стали теперь варыпаевцы. Бывший всесильный владыка живет уединенно, не вмешиваясь в дела, отягченный обвинениями врагов и... благословениями гольтыбы на Троицкой, на Семеньей и на других горах кустарного села, где стучат молотки и дымятся горны в кузницах. Да, тяжелы могут быть эти благословения человеку с загадочным взглядом и бурным прошлым, стоящему у края могилы, если только, положив руку на сердце, он не может сказать про себя, что в этом мутном для постороннего наблюдателя лабиринте интриг,

столкновений и борьбы ему служило путеводною нитью посильное стремление помочь этим людям, благословляющим его, бессильного и гонимого.

Может ли сказать это Федор Михайлович Варыпаев?

Я не знаю. Я знаю только, что это время было временем самого пламенного раздора, что оно запятнано несправедливыми гонениями, что в борьбе пускались в ход всякие средства, что эти годы отмечены сбивчивостью, темнотой и неясностью в делах, что они омрачены жесточайшею смутой и озарены кровавым заревом страшного пожара, что коренные вопросы павловского быта даже не ставились борющимися партиями, что из тумана, в котором бьются эти партии, слышится тоже надтреснутое, болезненное буханье, лишенное гармонии и смысла, что, наконец, павловское общество не вышло из него более счастливым, спокойным и богатым...

Теперь тишина и порядок. И среди этой тишины и порядка ведутся речи о том, чтобы превратить Павлово в город. Тогда замостят центральные улицы, зажгут фонари, длинные кузницы вынесут за черту "города", на окраины, и в светлой думской зале скупщики, в полном порядке, поведут речи о нуждах бывшего села кустарей.

IX. Мечты

То, что я хочу теперь рассказать, происходило в самый разгар павловского буханья, вскоре после страшного павловского пожара, истребившего половину села. По селу ходили слухи, самые невероятные взаимные обвинения. Над пособием, выданным от правительства, кипела жестокая свалка...

Была ранняя весна. Она недавно еще взмыла весенним половодьем, взломала льды, подтопила кручи и горы и залила широко, далеко поемные луга на заречной стороне... Кустарные села и деревни в окрестностях Павлова казались островами, плававшими в прозрачном тумане над гладью разлива.

На небольшой круче села Тумботина, отделенного половодьем от глинистых павловских гор, стоял молодой человек. Он недавно еще протащился несколько часов по самой ужасной дороге, продрог, потерял калошу и узнал, что в Тумботине придется еще ждать перевоза.

Серединой реки неслись последние поредевшие льдины, павловские горы, широко раскинувшиеся над рекой, синели в легкой дымке, в ясном небе причудливо вырезались куполы павловских церквей, домишки кустарей лепились по склонам, отсвечивая далеко стеклами своих окон, над водным простором свободные чайки взмахивали круто изломанными белыми крыльями, а далеко под самым берегом, в низинке, где кустарное село сбегает к реке, маленькие фигуры людей мелькали и суетились около первого еще в этом году парома.

Молодой человек смотрел на все это и забывал скучную дорогу по грязи, забыл о том, что он продрог и промок... Первый паром должен был доставить его в родное село, куда он вез с собою новое дело...

В жизни каждого человека есть свой весенний праздник, когда душа парит, как птица над буйным разливом, а все мелочи и неприятности будней стряхивает с себя, как легкие пушинки, которые ветру удается выхватить из ее крыльев. Этот праздник - то время, на которое работала юность, когда все, о чем мечтал, к чему готовился, что мелькало в золотом тумане юношеских грез, вдруг выплывает из этого тумана и раскидывается перед восхищенными глазами так близко, так ясно, как Павлово раскинулось перед глазами Николая Петровича Зернова. Взмах крыла, - или, выражаясь реальнее, первый паром, - и вот неопределенная юность с ее мечтами уже назади, а впереди подвигается, и ширится, и идет навстречу самая жизнь, к которой так долго готовился, которую так страстно желал...

Николай Петрович Зернов, стоявший весной 1872 года, на страстной неделе, в виду Павлова на Тумботинской круче, был именно в таком положении.

Николай Петрович Зернов и его друг, связанный с ним общим делом, Фаворский, оба родились, получили первые впечатления и выросли в кустарном селе. Отец Зернова был местный почтмейстер, отец Фаворского - протопоп. Таким образом, судьба давала возможность двум мальчикам, игравшим на кручах Павлова с чумазыми мальчишками кустарей, получить основательное образование и заглянуть в свет подальше того, что видно с самых высоких павловских гор. В то время, как товарищи их раннего детства давно уже стучали молотками в убогих мастерских, бились с "низнувшими" ценами и проталкивались в темных улицах к скупщицким огням, Зернов и Фаворский учились в гимназии и затем оканчивали курс - один в технологическом институте, другой - в университете по юридическому факультету.

Но оба они не забывали родного села. Оба с детства видели собственными глазами и собственными ушами слышали тяжелое, надтреснутое павловское буханье. С детства они привыкли различать в нем знакомые оттенки, с детства вырастали в их сердцах симпатии и антипатии среди разделенного смутой павловского мира.

Образование расширило их кругозор, но не истребило симпатий. И вот теперь оба друга, юрист и технолог, несли обратно в родное село свои знания. Юрист и технолог являлись сюда основателями двух учреждений, с которыми связали свою деятельность в лучшую пору своей жизни. Связь была так крепка, что вместе с нею порвалась у одного из друзей самая жизнь.

Дело было маленькое и скромное, называлось оно "устройством в селе Павлове складочной артели" (Зернов) и "ссудо-сберегательного товарищества" (Фаворский). Дело было очень прозаичное и негромкое, но друзья смотрели, на него, как на зернышко первого посева, как на дело будущего.

Оно било в самую суть вопроса; если возможно умиротворение павловских раздоров без окончательной гибели самой кустарной формы, то это решение и эта возможность лежит именно там, где его искали в семидесятые годы многие "верующие" люди и в их числе "два павловских студента".

Это было дело веры, дело любви и примирения. Зернов и Фаворский являлись в Павлове третьей партией, пускали в ход новую идею, мечтали образовать такой островок, куда могли бы спастись все утомленные бестолковою борьбой, которой не виделось конца. Старые партии действительно утомили уже Павлово, и - увы! - еще долго суждено было им утомлять несчастный кустарный мир. Они походили на двух человек, схватившихся в узком проходе. Побеждал то один, то другой, то одному, то другому приходилось плохо, но оба все-таки не двигались ни на шаг.

Зернов и Фаворский мечтали, что они укажут настоящую, более просторную дорогу. Заблудившийся в потемках павловский мир они, видевшие дальше, чем можно видеть с павловских гор, хотели понемногу вернуть к распутью, оставшемуся далеко позади и с которого он свернул на ложную дорогу. Они хотели уничтожить или, вернее, обойти ту стену, которая отделяла мир кустарный от остального божьего мира. Они хотели вывести из-за нее кустарей и указать им этот мир, широкий, разнообразный, заманчивый, с его далекими перспективами, с его изменчивыми запросами.

Дело состояло в том, чтобы дать плоть и кровь тому "как-нибудь", которое смутно мелькает перед Аверьянами. Нужно было организовать новую ячейку производства, связать ее со сбытом живую нитью, и когда эта живая связь примется и окрепнет, сказать ей: теперь живи и множься и покрывай кустарный мир. В тебе живая душа этого мира, больного и умирающего.

Вот что стояло за маленьким делом, которое вез с собой молодой человек, ожидавший на Тумботинской круче первого парома.

Все способствовало, казалось, практическому начинанию двух идеалистов, потому что в то время была вера, а формула всякой веры: "на земли мир, в человецех благоволение" - казалась основным законом жизни. Трудностей не боялись, скорее грешили излишним пренебрежением к трудностям. Все, что загромождает

сущность вопроса, тогда устраняли, как легкую шелуху, и, разыскав мысль "основные причины", брались за них в предположении, что устраненные детали вовсе уже не существуют.

Все, что я написал в этой главе, заимствовано мною из старого письма. От потемневшего листочка бумаги, взятого из беспорядочной, неразобранной груды таких же старых листков, пахнуло на меня этой весной; там описан и этот разлив, и первый паром, и ожидание Николая Петровича Зернова в виду родного села...

"Здравствуй, дорогой мой А. Е., - так начинается это письмо. - Ну, вот я и в Павлове... Как встретила меня мама, ты можешь себе представить, - самого тебя не раз встречали так же... В каждом движении столько любви, столько беспредельного обожания... И, право, совестно и больно, что в сердце, занятом другим, не находится столько же ответной любви..."

А дальше, после описания трудного переезда и грязи и ожидания парома, идут подробности встречи с друзьями и знакомыми в Павлове. И тут же непосредственно - мысли, толки, предположения об ожидающем деле, о надвигающейся практике и ее прозаических мелочах. Пятидесятикопеечные еженедельные взносы тяжелы для кустарей, членов артели... Есть параграфы, которые надо будет устранить... Торговцы хихикают, принимая во внимание незначительность капиталов артели сравнительно с их капиталами, и, не стесняясь, высказывают на стороне те препятствия, на которые артель неизбежно натолкнется при ведении дела. Они соглашаются, что со временем для артели дело будет выясняться все более и более, но до тех пор артель, не имеющая, по уставу, права покупать чужие изделия и пополнять ими свой "ассортимент", уже разлетится на этом камне. Мастера, которых изделия необходимы, могут и не попасть в члены артели, тем более, что их постараются "придержать", и т. д. и т. д.

Это уже - проза и практика житейской борьбы, которая охватила с первого же дня новое дело... Против мечтаний об основном законе жизни, о мире и благоволении выступает суровая рать стройно сомкнувшихся жизненных фактов, выступают "экономические" законы, в своем благоразумии короткой данной минуты претендующие на вечное, незыблемое значение.

Но, кроме экономических законов, предстояли еще и другие трудности. К слабому детищу мирного идеализма тянулись уже более опасные объятия борющихся партий, стремившихся завербовать к себе юного новобранца... Между тем, дело это должно было стать делом не борьбы, а мира: не ненависть, а примирение вносилось в павловскую жизнь этим начинанием. И Николай Петрович Зернов твердою рукой постарался на первых же порах оградить нейтральность своего детища. Ни главнейшие из скупщиков, ни сам всеильный уже в то время Варыпаев не вошли в состав артели, и это произошло не по их собственному желанию...

С тех пор прошло почти двадцать лет... Двадцать лет, это почти половина жизни. Что же случилось с молодым человеком, стоявшим на Тумботинской круче?

Каково продолжение нашего романа? Как кончился идеалистический опыт, чему он нас учит своею удачей или своими ошибками? Каковы его окончательные и неопровержимые выводы?

Может быть, при первом столкновении с действительностью мечты разлетелись, как хрупкое стекло, и никакого романа не вышло? Или он вступил в борьбу с суровым экономическим законом, во имя утопии, и суровый закон неопровержимо доказал свою силу, а мечтатель смирился и побрел за другими по избитой дорожке? Или, наконец, молодая идиллия перешла постепенно в благоразумную зрелую прозу: мечты никогда не осуществляются целиком, действительность оборвала лепестки у цветка юности, но из-под них вынырнул скромный плод, маленький и некрасивый, но все же заключающий в себе семена дальнейших всходов?

Ни то, ни другое, ни третье... Зернова нет уже на свете, и, вместо романа, передо мною беспорядочная груда пожелтевших бумаг, в которой мелькают разрозненные цифры, отдельные замечания, вписанные твердою рукой, дружеские и деловые письма... Но все это обрывается, как внезапно лопнувшая струна...

В Павлове было две партии. Зернов не примкнул ни к одной, и потому обе с затаенною враждой смотрели на новое начинание. Зернов не вступал в борьбу за Варыпаева с "богачами", он не трогал "скупщиков", но самая идея, на которой покоилось скупщицкое сословие, подвергалась нападению. С другой стороны, он не заступался за "богачей", не ратовал против варыпаевского влияния на сходе, но клал основание учреждению, которое било дальше варыпаевской оппозиции "богачам" и звало бедноту под новое, менее боевое, но более обещающее знамя...

Как бы то ни было, в тревожное время, когда Павлово еще не успокоилось после пожаров и раздорного буханья, когда по селу ходили самые тревожные слухи, вызванные бестолковою демагогической борьбой, кто-то пустил против Зернова "шип по-змеиному" в виде ложного политического доноса...

Время было тревожное. Произвели обыск. У Зернова не нашли ничего; "недоразумение" длилось недолго, однако достаточно для того, чтобы дело Зернова сразу завяло. Кружок Зернова, на время разгромленный и деморализованный, или отсутствовал, или потерял значение, а в это время разнуздалось и пошло врознь все, что прежде сдерживалось рукой организатора в неокрепшем деле.

Прошлым летом в доме одного мастера, держащегося теперь совершенно в стороне от всяких общественных дел, я встретил старушку... Это была самая обыкновенная старушка с чулком в руках и с тем особенным выражением строгого спокойствия на лице, которое иногда встречается у таких старушек. Не знаешь, чему приписать это выражение: может быть, ей надо считать петли и она сосредоточена на этом счете, а может быть и то, что тяжелое горе и горькая скорбная дума о жизни наложили эти морщины, придали неподвижность этому взгляду.

От хозяина я узнал, что это - мать Николая Петровича Зернова, приехавшая в Павлово прямо с похорон сына. После своей неудачи он жил еще более десяти лет, даже служил где-то на железной дороге. Но все, знавшие его прежде, видели, что это уже не жизнь, что в ней недостает главного нерва. Когда же, вдобавок, у него умерла жена, - заметное и прежде нервное расстройство перешло в настоящую острую душевную болезнь.

Судьба порой особенным образом заботится о своих любимцах, со вкусом истинного художника располагая все аксессуары так умело, что образ выступает наиболее цельно и ярко. Такую трагическую заботу проявила она и относительно Зернова. Любовь и заботы близких людей успели победить болезнь, сознание его прояснялось, он выздоравливал. Но в то время, когда однажды он сидел в Петербурге у окна, из четвертого этажа против его квартиры выбросилась на мостовую женщина. Николай Петрович вскрикнул и с этой минуты не приходил уже в сознание...

Очерк второй. Скупщик и скупщицкая философия

Х. Скупщицкий юмор

Светлый, летний вечер. Солнце освещает покатую улицу, меж крыш мелькает река, с другой стороны виднеются горы с лачугами. Дымятся кое-где кузницы. Из раскрытых окон несется на улицу визг пил и стук молотков. Рабочий день еще не кончен, до понедельника далеко.

На лавочку перед воротами своих палат садится Осип Иванович Портянкин, крупный скупщик и торговец. Это человек толстый, с несколько оплывшими чертами лица. Глаза его, скользящие вдоль спокойной улицы, светятся ленивым юмором.

Действительно, Осип Иванович большой юморист.

Как-то в лавку Осипа Ивановича зашло "начальство". Производилось официальное "исследование" по поводу заявления о бедствии в Павлове, и начальство с учеными целями присутствовало при скупке и

приемке. Осип Иванович, по своему обыкновению, рассчитывался при посредстве "промена" и "третьей части".

- Не надо бы промену брать,- сказала официальное лицо.

Осип Иванович посмотрел на него ироническим взглядом и сказал спокойно:

- На роду мне написано брать с них, подлецов, промен. Ничего не поделаешь.

- Ты бы хоть меня постыдился.

- Не стыдимся мы денежку наживать. Да и что нам тебя, ваше благородие, стыдиться?

Говорят, начальник, уже в силу своей особенной профессии выдавший всякие виды, потупился и слегка покраснел под этим твердым взглядом павловского юмориста.

Таким же взглядом смотрит он теперь вдоль тихой улицы по которой ласково скользят солнечные лучи, золотя мураву на косогорах, насадку с цыплятами, разгребающую железный мусор и опилки, воробьев, купающихся в мягкой пыли. В этом взгляде из прищуренных заплывших глаз так и сквозит какая-то дремлющая, несколько циничная насмешка. Как будто этот человек знает что-то нелестное и об улице с ее тихим покоем, и о насадке, и о воробьях, и даже о солнце, льющем свои золотые лучи. Они одинаково светят и на беспечного воробья, и на кошку, которая тихо крадется под забором, сверкая на глупую птицу жадными глазами. Мгновение - и глупая птица уже в ее лапах, и мягкая пыль обагряется глупою птичьей кровью.

Осип Иванович отлично знает, что гораздо лучше быть хищником, чем жертвой.

Кроме того, он уверен, что все думают так же, но только одни хотят и умеют занять это удобное положение под солнышком божиим, а другие тоже хотят, но не умеют.

У него есть и умение, и желание.

И вот почему его умные глаза светятся, или, вернее, лоснятся, этим насмешливым довольством, и вот почему под этим взглядом порой становится так неловко.

Обежав вдоль улицы, взгляд Осипа Ивановича падает на противоположную сторону. Там, на такой же лавочке, у таких же ворот, оказывается сидящим другой павловец, молодой скупщик Александр Семенович Чайкин, в просторечии называемый Леской, который смотрит на Осипа Ивановича таким же "павловским" взглядом.

Глаза соседей встречаются, и обоим становится не по себе, как будто каждый подглядел что-то в другом. Они отводят глаза, но через минуту обоим тянет опять посмотреть на противоположную сторону.

- Что, радуешься,- спрашивает равнодушно Осип Иванович,- дядьев-то обокравши?

Чайкин так же равнодушно отвечает:

- Что тут! Какие мы еще воры! А вот у кого лошади по неделе не распряжены стояли, помнишь ты, Осип Иванович?

И молодой "Лёсынъка" напоминает старому "Ваньке" один из эпизодов его собственной биографии.

Разговор, с его тонкими намеками, понятными одним павловцам, мгновенно пресекается. Противники чувствуют, что оба достойны друг друга и оба одинаково твердо и не потупясь встречают эти шутки. А это действительно только шутки. Через минуту, пыхтя и отдуваясь, выходит с подсолнухами в кармане супруга Осипа Ивановича и садится рядом с мужем.

- Переходи-ко-те к нам, Ликсан Семеныч,- говорит она Чайкину.- Вместе веселяе.

Чайкин, как ни в чем не бывало, переходит через улицу, и... начинается беседа откровенных павловских мудрецов о других таких же мудрецах, умеющих устраивать дела...

Вот, например, к старику Акифьеву или Долганову является с ирбитской ярмарки молодой приказчик. Дела шли превосходно, вышла, как говорят в Павлове, настоящая "упайка", товар "шел ходом", и приказчик сдает при отчете крупную сумму.

Расчет покончен, старик отворяет стол и кидает туда дрожащею рукой пачки денег. В это время приказчик, не говоря ни слова, кладет перед ним еще одну пачку в три тысячи.

- Это что? - спрашивает хозяин, вскидывая глазами на потупившегося приказчика.

- Это-с,- скромно говорит тот,- еще сверх того... Позвольте сказать: утаил, да совесть взяла. Не будет ли милости вашей, для награждения добродетели...

Скупой старик быстро сгребает пачку и щелкает замком:

- Нет, нет... Не умел взять без ведома, не взыщи, не дам!.. Глуп, глуп, Ванюша...

И он окидывает Ванюшу взглядом сожаления. Оказывается, что "глупый Ванюша" украл не три, а целых тринадцать тысяч... и впоследствии сам становится скупщиком и конкурирует с бывшим хозяином...

И, вспоминая такие истории, лежащие в основе скупщицкого накопления,- собеседники благодушно смеются...

Однако надо быть справедливыми и к скупщицкому сословию. Всем известно, что среди рабочих есть лентяи и пьяницы; однако существенная черта того коллективного типа, который носит название рабочего, вовсе не то, что он пьянствует и ленится, а то, что он трудится и производит. Для характеристики рабочего класса мы должны обращаться не в кабаки, а в мастерскую,- не к тем, кто, главным образом, пьянствует, а к тем, кто, главным образом, работает, и по их положению судить и делать те или другие выводы.

Очевидно, то же, думал я, нужно применить и к скупщику... Толкаясь среди базара, глядя на эти картины отсталого строя, слушая гневные или цинические рассказы о проделках павловского капитала,- я думал все-таки, что должна же быть и другая сторона явления. Пока нет других форм обмена,- скупщик выполняет эту необходимую общественную функцию... Он является единственным посредником между мастером и потребителем, и явление нужно посмотреть в этой его сущности и притом в наиболее сильном ее проявлении.

С этим решением, как помнит читатель, я и заснул на постоялом дворе, в туманное зимнее утро после скупки. И в моем воображении носился образ Дмитрия Васильевича Дужкина, человека, соблюдающего свое звание.

XI. Об экономическом человеке

Слыхали ли вы когда-нибудь об экономическом человеке?

Экономический человек выдуман учеными людьми собственно для научного употребления и изготовлен по чисто отрицательному рецепту. Для этого взяли обыкновенного человека и у него, как лепестки у махрового цветка, оборвали и отбросили прочь все душевные свойства, все побуждения, все невинные глупости, все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства, к так называемой экономической выгоде.

Если бы этот человек размножился и заполнил землю, это было бы большою потерей в экономии природы, но от этого очень много выиграла бы политическая экономия. Человеческая природа проиграла бы оттого,

что все ее цветки, вся игра ее красок, все благоухания сразу бы исчезли. Но экономическая наука покрыла бы все остальные знания, стала бы наукой наук, приобрела бы точность и пророческие способности астрономии: все неуловимое, все бесконечно-сложное и потому бесконечно-беспорядочное движение в человечестве сразу стало бы упрощенным и стройным, все мы задвигались бы по одинаково описанным, определенным орбитам, и законы человечества стали бы непреложны и непререкаемы, как законы тяготения.

Вот что, собственно, прельщало некоторых ученых людей, мечтавших уже о весьма точной гармонии подлежащих несложному учету сил и интересов. К счастью, не все мечты, рождающиеся в иных даже очень ученых головах, осуществимы...

И, однако, экономический человек все-таки существует. Нет такого образа, нет такого намека на образ в запасе человеческой мысли, которые бы не поторопилась уже гораздо ранее, когда-нибудь, где-нибудь осуществить вечно творящая природа. Таким образом, задолго еще до того, как перед взглядами ученых людей обрисовался во всей полноте идеал экономического человека, сам экономический человек, сухой и лишенный всех излишних украшений, уже слонялся по белу свету среди остальных детей общей матери, смотрел кругом своим острым взглядом, зловеще сверкавшим на все яркие лепестки и роскошные придатки жизни...

Только неисправимая мотовка-природа, любящая цветы, переливы и благоухания, стремящаяся к излишеству и сложности форм, вместо их упрощения, всюду, где только появляется это благоразумнейшее, повидимому, из ее детищ, брезгливо отворачивается от него и протестует: вокруг него все тускнеет, омрачается, вянет и усыхает, и даже самое богатство обращается в сухой, костлявый, истомленный неутолимый голодом призрак...

Впрочем, это только присказка. Дело идет просто о некоторых чертах из биографии Дмитрия Васильевича Дужкина...

Жил-был в Павлове кустарь Василий Иванов, по прозвищу Дужкин.

Это было еще в то время, когда мастерам жилось посвободнее, нож и замок шли с рук порядочно, мастерство не шло на убыль и цены держались довольно крепко. Чаще тогда слышались в Павлове песни, мастера покупали себе хорошие шубы, женам дарили платки и узорные ситцы, утешались по праздникам кулачными боями, в домах стены распирались от толпы, глазевшей на бой кочетов, да, правду сказать, не раз к празднику беспечные мастера прихватывали и будней, а "расход вели по приходу". Мастерство всегда в руках, думали они, и не чаяли, не гадали о черных днях и невзгодах.

Василий Иванов не отличался особенными талантами, работал самый простой нож, не требующий никакой ловкости или сноровки. Но зато при продаже торговался так, что выводил из терпения самых терпеливых скупщиков, и не имел никаких личных слабостей. Никогда не видали его в кабаке, мимо всяких гулянок он проходил с суровым видом осуждения, появляясь только в церкви по праздникам, да на базаре в понедельник. Все остальное время он работал в своей мастерской. Одевался бедно, жил скупо и всякую копейку откладывал, урезывая себя, даже в то сравнительно обильное время, во всем самом необходимом.

- Нас у него было двое,- говорил мне об отце Дмитрий Васильевич, - я да братец старший - покойник теперь. Любить он нас, полагать надо, любил. Ну, а жалел... маловато. С осьми лет уж мы у него с молотком познакомились. Скричат вторые петухи - будит, а ложились часов в одиннадцать. И если по-нынешнему об нем говорить, так надо сказать - скупой... Ну, а в старину говорили - бережливый. Баловства мы от него не видали. Чаем нас поил раз в неделю: после вечерен в субботу. Брату, как он больше помогал, четыре чашки, кусок сахару. Мне, как я помогал меньше, две чашки, полкуска. Теперь вот господа кустари изволят жаловаться: чай плохой торговцы отпускают... И многие господа кустарей жалеют, о кустарях многие господа заботятся. Бедные, несчастные... Ба-лов-ство-с!.. Об нас, позвольте спросить-с, заботились? Нас, позвольте спросить, жалели собственные родители?.. Две чашки, полкуска-с!.. Вот как!

На лице Дмитрия Васильевича, когда он произносил эти слова, было какое-то странное выражение: жалел ли он о своем детстве, проведенном в железных тисках беспощадной наживы, или с сыновнею нежностью вспоминал сурового родителя, который умел любить, не жалея?.. На бледном лице рассказчика проступил крепкий румянец. Такой румянец и на таких лицах вспыхивает не сразу, но зато долго не угасает. Он перекрестился на икону и закончил твердо:

- И посею сейчас благодарю своего родителя, царствие небесное, что научил уму-разуму, как надо на свете жить...

И затем продолжал свой рассказ.

Посредством этой системы, путем неуклонной энергии и истинно-геройских лишений, отец скопил первую тысячу ассигнациями. Прибавив последний рубль к накопленным ранее, он поставил свечу своему угоднику в церкви, крепко помолился, еще крепче подумал сам и позвал старшего сына для совета. Мастер-кустарь задумал открыть свою торговлю.

Это был шаг очень серьезный.

- Думаете, сразу пустил в оборот всю сумму? - спросил у меня Дмитрий Васильевич, лукаво улыбаясь при этом воспоминании. - Как бы не так! Не-ет... Старинные люди не любили пыль в глаза пускать. В старину любили потихоньку, да чтобы крепче. Подумали они, потолковали с братом, потом сняли тихонечко лавчонку нехитрую, попросили у соседа лошадь с телегой, да благословясь, в Нижний... Купили на пятьсот ассигнаций железа и с господом... открыли торговлю, клёпань да проволоку мастерам по мелочи продавать. В старину, милостивый государь, это не так легко зачиналось, как ныне, это дело в старину было серьезное-с.

Я легко представил себе, что это действительно было дело серьезное. При взгляде на сына, рассказывавшего мне эту поэму отцовской наживы, я читал даже в его лице историю неприветного детства. В глазах горел огонь, на щеках стоял крепкий румянец, обнаруживавший железную натуру отца. Но в сухих чертах, во всей тощей фигуре из одних костей и сухожилий, сказался непосильный ранний труд и лишения. Он напоминал растение крепкой породы, выросшее в глухом углу, без тепла и света.

Понятно, что первый шаг к выделению старика Дужкина из своей среды, к переходу из мастеров в торговцы, среда эта встретила не особенно дружелюбно. "Дужкин с молотком распрощался, Дужкин выходит в торговцы! Тысячник, миллионщик!" - иронизировали павловские Аверьяны, саркастически кланяясь новому торговцу, пуская ему вдогонку насмешки и остроты. Среда вообще мирится с существующим фактом превосходства, но не терпит и ненавидит такой факт, возникающий у нее на глазах.

Старый Дужкин шагал обдуманно и осторожно. Попрежнему, задолго до свету, он зажигал рабочую лампочку, задолго до свету подымал заспавшегося ребенка, который не смел ослушаться и, прощаясь с обрывками золотого детского сна, как и у других детей полного грез, тщательно скрывал от сурового отца горькие слезы. Не всюду у мастеров светились окна в те часы, когда светились они у начинавшего торговца Дужкина, когда за его станком стучали уже три молотка.

Потом, под благовест к ранней обедне, Дужкины шли в свою лавку, и бледный мальчик с черными глубокими глазами помогал здесь отцу или брату до вечера. Вечером до одиннадцати часов опять работа, а там короткий сон и опять оборванные грезы.

Да, мало жалости встретил Дмитрий Васильевич Дужкин в свои молодые годы!.. Суровая рука "экономического человека", не знавшего слабости родительского сердца, не давала развернуться ни одному лепестку в юной душе, беспощадна вгоняя ее в колею наживы, вырабатывая ее по своему суровому образу и подобию.

Между тем, торговля шла хоть тихо, но верно вперед. И вот, однажды опять старик помолился в церкви, опять заперся со старшим сыном и говорил с ним всю ночь; сын отпрашивался и даже плакал, а отец сурово

приказывал и настаивал. Василий Дужкин, уже ранее занявшийся мелкою скупкой для ближайших рынков, решил снарядить старшего сына в путь на дальние рынки, в Польшу и Украину. Сам он был уже слишком стар и не мог бы вынести трудного путешествия с возами; но его энергия искала еще нового применения, хотя бы в сыновьях. Он обдумал все дело, а сын должен был привести его в исполнение.

- Ну-с, милостивый государь,- рассказывал мне Дмитрий Васильевич с сверкающими от восторга глазами,- это дело зачиналось еще посерьезнее. Теперь, конечно, когда все поставлено, любой приказчик его оборудует. А тогда все равно, что Америку открывали. И опять родитель покойник отделил на это дело половину капитала, а другую оставил в старом, уже испытанном деле. И поехал старший брат с возами в Польшу, а с братом я, а с нами еще приказчик, человек бывалый и верный, каких теперь верных людей, по совести вам скажу, тоже что-то не открывается.

Поехали и... проторговались.

Поздно ли приехали, или по какой другой причине, только товар не пошел, денег затрачено много, н все понапрасну. Брат, который и ехал уже со страхом и со слезами, совсем пришел в отчаяние. Он знал, что значат напрасно потраченные деньги, и боялся показаться отцу на глаза после неудачи.

Но тут выручил верный человек. "Что ж, Семен Ваеилич,- сказал он,- теперь уж одно: либо весь капитал топить, либо весь выручить. Под лежащий камень вода не потечет. Айда, а там авось и в Харьков к ярмарке поспеем". И двинулись они опять со своими возами с Польши на Украину.

Что страху набрались, что передумано, что богу помолились, едучи с возами по полям, шляхам и по степям Украины, в жаркие пыльные дни и в звездные росистые ночи. Что будет, что подаст господь?.. Страшно неведомое, новое дело... Просыпаясь в телеге, в глухую полночь, мальчик слышал не раз тихий и сомневающийся говор брата и успокоительные замечания бывалого приказчика. Впрочем, младший Дужкин еще не понимал всей серьезности положения. Он только расправлялся, как захиревший цветок, вынесенный на свежий воздух, вдыхал полною грудью веяние степного ветра, слушал разговоры степи с чарующими ночами юга, и в его душе слагалось что-то, чего он не знал в мастерской, что мелькало только отрывками в грезах недоконченных снов в суровом родительском доме.

Да, вот почему и теперь у Дмитрия Васильевича лучший хор певчих из всего Павлова, а, пожалуй, мог бы даже соперничать с архиерейскими. Этот лепесток так и остался в душе необорванным...

Украина и харьковская ярмарка выручили. Убыток весь наверстался, и старику привезли еще, хотя и незначительный, барыш. Главное, степные шляхи были уже проторены дужкинскими колесами, и вскоре в Польше и в Харькове открылись две дужкинские лавки. В Польше торговал приказчик, в Харькове брат с Дмитрием Васильевичем; отец оставался в Павлове, порой наезжая в Харьков и в Польшу.

Тут-то, в харьковский период жизни, Дмитрию Васильевичу пришлось пережить тяжелые искушения, грозившие разрушить все плоды сурового отцовского воспитания. Точно захиревшее растение, выросшее под железным колпаком и вдруг вынесенное на простор, на солнце и на волю,- молодая душа стала расправляться и даже играть неожиданными переливами.

Началось это, вероятно, еще тогда, когда мальчик шагал с детскою беззаботностью за скрипучими возами по широкому шляхам; когда чудные зори умирали за темнеющею степью, когда безбрежный небесный шатер загорался огнями и синяя ночь веяла на землю миром в человецех и благоволением. Там, у красных огней, от которых темнело небо и невольная жуть падала на сердце, среди чумаков, с их вольною поэзией и чудными ночными рассказами, у ребенка рождалось желание чего-то нового, другого, чего он не знал за станком, чего не могла дать ни лавка, ни нажива, ни самая счастливая торговая удача.

И вот, тайком от старших, мальчик смастерил себе скрипку и сначала робко, потом все смелее, в свободные часы, где-нибудь на задах или в далеком огороде, пробовал в звуках излить неопределенные чувства, теснившиеся в душу, которая невольно раскрывалась навстречу. И порой, наверное, ясно звучало в этой

душе то, что теперь Дмитрий Васильевич бесповоротно признал одним баловством: "на земли мир, в человецех благоволение"...

ХII. Дужкин и Дорошенко

В Харькове Дужкины наняли лавку у богатого помещика и домовладельца Дорошенка. У последнего был сын Борис одного возраста с Дмитрием Дужкиным. Теперь, по прошествии многих лет, лавка или, вернее, магазин кустарных изделий Дужкина находился в том же доме, и жизнь двух мальчиков, а теперь взрослых людей, Дужкина и Дорошенка, протекала двумя близкими параллельными линиями.

Дом, где жил сам Дорошенко, находился напротив, и Митя, сидя в лавке среди железных замков, под железным надзором отца и брата, смотрел, как его сверстник, - потомок славного рода, баловень семьи, - начинал свое счастливое существование. К нему ходили учителя, из открытых окон летними вечерами неслись звуки музыки.

- Я поигрывал на самодельной скрипочке, Дорошенко тоже играл на скрипке, - говорит с иронической улыбкой Дмитрий Васильевич. - Только я самоучкой, а к нему ездили лучшие учителя. Потом его отдали в гимназию... а я свою гимназию проходил: за прилавком замки продавал...

Мальчики встречались изредка на улице, видели друг друга из окон в окна. Но молодой Дорошенко долго не замечал даже существования молодого Дужкина, тогда как тот отлично знал молодого Дорошенка. Все, что прельщало его противоположностью с железными тисками наживы, с узким и суровым режимом мастерской, лавки, железной торговли, - все, что манило неопределенными грезами в степях, - все это теперь получило определенный образ. Ему хотелось, во-первых, иметь такую же скрипку. Вначале он чувствовал, что молодой Дорошенко далеко уступал ему, самоучке, разыскивавшему мелодию по слуху, на дрянном инструменте. Но прошел год, и "ученый" музыкант далеко обогнал своего соперника. Мальчику хотелось тоже учителя. Были ли с его стороны робкие просьбы в этом смысле, были ли попытки молодой жизни пробиться из железных тисков, или он затаил все это в себе, не пытаясь даже осуществить мечту, - не знаю. Но только и теперь еще в страстно сверкающих взглядах Дмитрия Васильевича, - когда он насмеялся над гимназиями, мне чудилась когда-то, давно, отложившаяся в глубине души, подавленная драма неудовлетворенных стремлений.

- Да-с... Он в гимназии обучался, а я-с... я свою гимназию проходил... за прилавком-с... Потом он - в университет, а я... с возами, по матушке России, в Польшу, да в Украину... Стало быть, тоже университет, только по другой части. Хе-хе-хе...

Дмитрий Васильевич много, горячо и охотно говорил мне о своем воспитании, об отце, об его системе, об ее непреложности, о вынесенных из опыта взглядах на жизнь, на образование, на людей, на кустарное дело. Но на этом периоде своей биографии он останавливался мало и неохотно, так, как говорится иногда о неприятной болезни. Тонкая улыбка пренебрежения играла у него на губах, и все, что я пишу о степи, о скрипке и о юных порывах, только промелькнуло в этом рассказе.

Как бы то ни было, все это несомненно было, оказало свое влияние и наложило известный отпечаток на дальнейшую жизнь. Долго ли "это" продолжалось, сказать трудно; однако, когда умер отец и братья разделились, "это" еще не совсем смолкло в душе молодого павловского торговца.

Между тем, Борис Платоныч Дорошенко вернулся из-за границы, где он изучал... кустарный вопрос. Молодой, блестящий, талантливый, он открыл в Харькове ряд публичных лекций по этому вопросу, и лекции эти производили настоящий фурор. Время было либеральное, после недавней "эмансипации" перед обществом раскрывалась перспектива дальнейших реформ, такая же заманчивая, как баловнические грезы дужкинского детства, а порой и такая же неопределенная. Во всяком случае, всюду в воздухе, как основная

нота, как господствующий тон всех стремлений, звучит все тот же призыв; на земли мир, в человеках благоволение,- который теперь кажется Дмитрию Васильевичу баловством из самых опасных.

- Бориса Платоныча Дорошенка изволили знать? - говорил мне Дмитрий Васильевич Дужкин, с глазами, сверкающими каким-то ироническим восторгом, между тем как на его губах змеилась насмешливая улыбка.
- Вот уж кого любо было послушать! Нас же ругает: и башибузуки-то мы, и турецкие зверства делаем, и в египетском рабстве кустарей держим... И мы же заслушивались, сидя в публике, и даже сами, поверите ли, хлопали в ладоши. Человек знаменитый, красноречивый, личность фигурная! Публика плещет руками, барыни платками машут, восторг! Собственные мои приказчики мне же уши оборвали: "Вот, мол, Митрий Васильевич, как бы и у нас в Павлове надо. А то все вы по старине, все во старине, а на одной старине далеко ли уедешь?.. Вот Борис Платоныч как по науке рекомендуют..." Хорошо! Стал уж я у собственных приказчиков за последнего человека!..

Дмитрий Васильевич замолчал и некоторое время сидел, барабанил пальцами по столу и как будто вглядываясь в свои воспоминания об этом времени.

- Да-с,- сказал он, продолжая улыбаться тонкими сухими губами. - Тоже ведь были и мы молоды, а я,- должен вам объяснить,- по своему характеру даже весьма пылок был. Тоже хотелось эти самые, знаете ли, артели заводить, господ мастеров благодетельствовать. Только как я практический человек, то меня, спасибо им, сами почтенные господа мастера отпугали, и даже, могу сказать, довольно скоро. Потому что, не хвалясь, скажу, голова у меня, милостивый государь, не опилками набита. Да-с... Если не скучно послушать, я вам могу рассказать, как это у нас вышло.

Я, конечно, был очень рад выслушать эту любопытную историю. Дмитрий Васильевич првстально посмотрел на меня и неожиданно спросил:

- Кто я, по-вашему-с? Как вы меня назовете? Скупщик и фабрикант. Так ли-с?

- Конечно,

- А Полетава Семен Семеныча знаете?

- Знаю.

- Ему какое будет название? Мастер? Кустарь?

- Да.

- А он двадцать человек рабочих держит. Почему же так, что он кустарь, а я не кустарь? По-моему, так выходит, что ежели я фабрикант, ежели я сок выжимаю, то и он, Семен Семеныч, то же самое делает, в аккурат. И даже по понедельникам огонь засвечает и, по силе возможности, делает покупку. А не в понедельник, то на неделе покупает. Стало быть, тот же скупщик. Так ли я рассуждаю, по-вашему?

- Пожалуй.

- Хорошо! А ежели кто пять рабочих содержит, это как? Ведь ежели от меня далеко,- у меня, скажем, их двести,- то от Полетава вовсе близко. А все он будет кустарь? Это бы дело надо маленько разобрать. Теперь я вам про того же Полетава скажу. Иду я это по улице, к музею, скажем, например, посмотреть: какие такие умные люди в музее (в Павлове существует музей образцов, открытый отделением технического общества.) еще более ума набираются... И идет со мной рабочий, с фабрики моей. Хорошо! Попадается теперича встречу Семен Полетав. И сейчас шапку в одну руку, другую здороваться ко мне... "Здравствуйте, Дмитрий Василич, как в своем здоровье пребываете?" А рабочему моему, который рядом идет, и головой не кивнул. Почему? Не такой же человек? Так это еще, милостивый государь, теперь-с! А дайте-ка в настоящую силу войти, он тогда станет вроде Ивана Грозного!

Он засмеялся своим дребезжащим смехом, между тем как глаза его сверкали, и продолжал:

- Теперь еще вот что я вам скажу: вот у нас цены низнут, процентов на двадцать упали... А у меня на фабрике плата все та же. Хвалиться не стану,- не из милости это делаю,- из расчета. Я всякого к себе на фабрику не поставлю, хоть будь он семи пядей во лбу. Я народ тоже сортирую, у меня с выбором каждый принят. Иной раз из дальней деревни выпишу, мужик-мужиком, стать у станка не умеет. Ничего, выучу, к делу определю, если только человек по разуму подходящий. Так мне каждый раз цену им менять не приходится. Хорошо! Теперича у каждого, например, моего коваля - молотобоец или подручный меньше с них получают, а только плату я назначаю сам. Так что ж вы думаете? Не боле вот недели назад говорят мне мастера: "Обидно нам. Мы теперь себе подручных найдем: народ бедствует. За два рубля с охотой пойдут". Слышали? "Мука, говорят, дорога стала". Так! Вам муки надо! А им, говорю, не надо?.. Вот видите: пусти-ка любого, да он вот как на своем же брате поедет, что на кляче!

Он улыбнулся еще язвительнее и перешел к рассказу:

- Был тут у меня один... Иван Михайлов. Руки у него очень порядочные, голова глупая была, а уж голос... просто цены тому голосу нет. А я большое пристрастие имею к пению. И теперь еще, как услышу пение стройное да задушевное,- слезы на глазах, душа в умилении. Ну, а в те времена, конечно, и душа была помягче, и все такое-с. Так вот, по такой-то причине этого я мастера побаловывал: и не нужно бы когда замков его брать - беру. Только ходи ко мне на спевки, да чтобы в церкви аккуратно... И бывал я, знаете, в разных там местах... Конечно, не как господин Дорошенко, а все же видел кое-что, доводилось! И все, бывало, смотрю, как люди делают, до чего люди доходят, и нет ли чего по нашему делу полезного. И вижу я в одном месте: штампа! замочная! Стук - и готово, стук - и готово! Скоро, чисто, аккуратно, отчетливо! Ах ты, господи, думаю себе, я не я буду, а в Павлове у себя эту штуку заведу. Первым делом - штампу введу заграничную, а около заграничной штампы совокуплю артель. А? Штука-то какая? Там господин Дорошенко пока еще говорит, а уж мы и на практике проведем это самое дело. Вот-с, надумавши это, тихим манером подошел к штампе, посмотрел клеймо: где, мол, такая штука делана. Замочек тоже добыл для образца. Отлично! Привожу штампу к себе, в Павлово.

Вот, думаю, как мне надо сделать: призову мастера из лучших, изготовим мы матрицы, или, сказать попросту, формы, выучу одного штамповать, потом примусь за другого, там за третьего. И вот таким манером потихоньку да помаленьку, без шуму, составлю артель. Наштампует один клёпани сколько надо,- ступай, отделявай, а в то время припущается к штампе другой. И пойдет у меня около этой штампы круговая работа. А там, мол, посмотрим.

Только вот беда-то в чем. Требуется прежде всего форму сделать, потому что штампа одна сама по себе еще не действует, а надобна к ней своим порядком для каждого предмета матрица, или форма, вещь опять особая. Ну, да ведь наш русский мастер, да еще кустарь,- слава-те, господи! - блоху и ту, сказывают, подковал. Вот отлично! Призываю к себе слесаря одного. "Так и так, можешь?" - Показываю замок, объясняю. - "Этакой, говорит, штуки, да чтоб я не сделал. В момент! Давай, хозяин, задаток!" - "Задаток, говорю, задатком, что ни возьми, да только сделай!"

Ну, делал, делал,- не сделал. "Штука-то, видишь ты, говорит, не наша, с хитростью",- сам затылок чешет. - "Эх, говорю, Степанушка-а! Видно, хлопать-то больно легко. На, вот, тебе деньги сполна, за всю работу, да смотри, чтоб никому ни словечка, что мы с тобой осрамились. Ведь засмеют". А уж у нас так повелось: чуть что новенькое, да еще, храни бог, не удалось, Аверьяны одни проходу не дадут, засмеют... А я этого не люблю.

Призываю, поэтому, другого. "Сделаешь?" - "В самом превосходном виде, лучше заграничного. Это что! Это нам ничего не составляет!" - "Сделаешь ли, смотри?" - "Говорить не о чем, сделаю".

Не сделал. Путлял, путлял, недели с три провозился. Сработал махину, только разве орехи давить. Ах ты, господи! Уж у меня сердце за это время накипело. И что, мол, это вы за народ за такой. Все у вас только изо рта течет: нахвастаете, а на деле оправдать не можете!

Ну, наконец-таки, нашелся! Татарин, машинистом в Гороховце служил,- слесарь первейший! Зазвал я его к себе с базару. "Садись, Василь Василич,- все ведь они по-нашему Василь Василичи,- водки хочешь? - пей, закуски хочешь? - жри! А вот и дело: сделаешь аль нет?"

Посмотрел прежнюю работу, помолчал, подумал. Ну, слава-те, господи, хоть не хлопает зря, думаю себе. Авось, выйдет толк.

- Ладно! - говорит. - Пятьдесят рублей дашь, сделаю.

Дело-то, положим, пяти рублей не стоит... Ну, да бери, Васенька, только не выдавай!

Недели три мучил злодей,- выпить крепко любил, даром что магометовой веры. Приедешь к нему, думаешь: не готово ли, а он, заместо этого, пьян валяется, лыка не вяжет. Ах, мухи тебя заешь! Ну, все-таки принес, наконец, приладил матрицу к штампе, раз, р-раз! Просто точка в точку!

Отдал деньги, да еще сверх уговору напоил пьяного, да на своей лошади домой отправил...

После этого призываю Ивана Михайлова, стало быть, уже по другому делу, насчет артелки. Начнем с богом!

- Ну, сладенькой ты мой, вот какая штука! Давай, станем учиться!

Выучился мой Иван Михайлов, пошла у него работа как следует, замок новенького фасона, идет хорошо, и цену я ему даю тоже хорошую. Теперь надо мне другого приучать.

Только между этими делами примечаю: начинает что-то мой Иван Михайлов портиться. Просто сказать, зазнается мужик. Дескать, и голос у меня, и в церкви я надобен, и на штампе стукать умею,- самый, значит, я первейший человек. На спевки не ходит, пьян напьется, грубить начинает, а я все терплю, все, заметьте себе, терплю! Захар Васильевич, староста церковный, тот даже удивляется на меня: "Вы, говорит, молодой человек, еще обращения настоящего с этим народом не знаете. Теперь бы, по-нашему, весьма полезно ему в шею хорошенько накласть! Послушайтесь опытного человека. Самое теперь время, а то, пожалуй, упустите, потом уж и поздно будет!" А я: "Что вы это, Захар Васильевич? Нельзя этак грубо. Что мы здесь, на кулачном бою, что ли? Надо по нынешнему времени иначе. По настоящему времени надо словом убеждения!"

Вот призываю милого дружка: "Ванюша, нехорошо, голубчик! Образумься несколько. Ведь это же выходит довольно с твоей стороны безобразно!" Вот мой Ванюша после этого так уж поправился, что в церковь пьяный вкатился, старосту скверно обругал, мне язык кажет. Еще бы малость, так, пожалуй, от хорошего убеждения меня же ударил бы. Как раз бы потрафил.

Ну, тут уж я маленечко опоминаться стал, действительно. Драться все-таки не стал, потому что, по-моему, глупые это люди, которые дерутся. А призвал его к себе, тихонько да веж-ливенько: "Иван Михалыч, господин Шупов, получите с нас расчет, да уж больше, сделайте милость, к нам не ходите. От наших ворот имейте поворот!" - "Как, да что?" - "Ничего-с, только мы вам, а вы нам более не нужны. Получите следующее "сполна".

- Да я, говорит, больше не буду!

- Дело ваше, как хотите, так сами себя и ведите, мы с вас воли не снимаем. А только,- говорю я ему,- послушай ты теперь, что я тебе говорить стану, да запомни, за-апомни! Я вашего брата мастерового весьма знаю, и манера ваша мне известна: шапки ты теперь на улице передо мной ломать не станешь. Бог с тобой, не надо. А вот зачнешь меня на улице останавливать, да срамить на народе, да проходу не давать. Ну, этого не

делай! Не ругай ты меня, Иван Михайлов, я тебе говорю: ни в глаза!.. От нужды никто не застрахован. В нужде я тебя достану, в нужде ты от меня кровавыми слезами заплачешь...

Дмитрий Васильевич перевел дух. Даже теперь, когда он передавал эти подробности, его голос дрожал и понизился до шопота. Я посмотрел в худое лицо, пылавшее страстным гневом, и испугался за беспечного певца Ивана Михайлова...

- Ну, послушался, понял! И действительно, с этих пор я своею дорогой иду, он своею. Шапки не снимает, да и не ругается, больше все куда-нибудь в переулок норовит. Стал я немножечко стороной у мастеров поспрашивать: "То-то, мол, Ванька меня, чай, теперича костит?" - "Нет, не было этого, не слыхивали".

А между тем наковальня от штампы так у него и осталась. Я ничего, ни слова об этом, что-то будет дальше. Приходит раз к прилавку, несет замки: "Не возьмете ли?" - "Не требуется нам на этот раз, не взыщите". В другой - то же самое: проходите мимо!

А на ту пору и подойди нужда! Да не такая, как теперь, а уж именно что настоящая нужда, от какой нужды упаси господи! Цены базар от базару все низнут, да все низнут. Месяц назад по рублю кои замки покупал, те уж по восьми гривен. По восьми возьмешь, через неделю уж по семи целую гору накидают. Мы и то закачались маленько, и с капиталами. А простому рабочему народу - зарез!

Вот еще в начале этой самой истории идет мой Иван Михайлов, тихий да смирный. "Вот, мол, Дмитрий Васильевич, принес я вам наковальню вашу,- из ума она у меня вон, только теперь вспомнил".

- Это, говорю, хорошо, что вспомнили. Это обозначает, что есть еще в вас сколько-нибудь совести. Это я похваляю.

- А замочков не возьмете ли у меня?

- Замочков мне ваших не надо.

А сам примечаю: подается мужик, отмяк, в настоящее чувство входить начинает. Хорошо-с.

Вот и подошла, наконец, самая коренная нужда, бедствие, туча, наказание Давидово. Сами мы даже испугались, народ ревом ревет, детишки пухнут. Идет опять Иван Михайлов и голову повесил.

- Не надо ли, мол, замочков?.. Возьмите, Дмитрий Васильевич.

Смотрю я на моего Ванюшу: только, мол, от него и будет, или еще что-нибудь скажет?

- Да что уж! Бери, ради Христа! Прости, Митрий Василич. Век сам не буду, детишкам закажу, даже до седьмого колена, чтоб имели всякое почтение к тому человеку, который превыше...

И смотрю я: из глаз у мужика слезы ручьем.

Н-ну! Это дело другое-с!.. Взял! И нужды в тех замках не было, а взял. Потому что, понимаете ли вы это,- замок не нужен, так человек нужен. Человека я себе по гроб приобретаю.

- Так-то, говорю, Ваня. - Уж не Иван Михайлов! Которого я человека приближаю, все уж полуименем зову. - Ты, говорю, Ваня, понимай! Потому что и в священном писании сказано: богатство порождает добродетель, бедность уничтожает. А еще сказано, и ты понимай, что это правильно: всякий человек должен кому-нибудь покоряться... Понимаешь! Кому-нибудь, а уж должен покоряться. Ты вот сейчас мне покорился, а я, думаешь, никому не покорствую? Нет, и я покоряюсь, покоряюсь, Ваня! Гнусь вот как, побольше еще, чем ты теперь передо мною... Потому что я тебя, Ваня, умнее!..

С этого самого времени приобрел я себе мужика; работает у меня на фабрике за первого работника и на клиросе даже за регента действует, когда придется. И много еще, после того случаяю, я дураков таких

захомутывал. Теперь о глупостях о своих и вспоминать забыли. "Спасибо, говорят, Митрий Василич, что научил нас, глупых, уму-разуму". - "Спасибо и вам, и вы меня тоже научили, как надо с вами, ребяташки! Потому что у каждого человека свое дело, свое и понятие. Вы свое от меня узнали, я от вас свое!.."

XIII. Победы "экономического человека"

Суровый родитель мог спокойно почивать в своей могиле. Молодые глупости, все эти бреши и изъяны, нанесенные душе его сына чуждедалнею стороною, заманчивым простором божьего мира, музыкой, гимназиями, университетами, лекциями Бориса Платоновича Дорошенка, - все это рассеялось... Родимое село опять захватило своего питомца и поставило его в колену. Душа отряхала ненужные придатки, возвращаясь к выполнению отцовских традиций, простых, незатейливых и суровых.

Однако, что-то там было еще назади, что влекло если не симпатии молодого скупщика, то его ревнивое внимание. Он продолжал с затаенным интересом следить за карьерой своего соперника, занимавшегося тем же делом, с теоретической его стороны. Проходя свою гимназию и свой университет, колеся по России, Польше и Украине, он закалился, высох на солнце, затаил все, что прежде рвалось наружу, но все же прикидывал свой опыт, свои познания к тому, что говорил, что писал его красноречивый, образованный соперник. Это была своего рода борьба, в которой одна борющаяся сторона даже не знала о своей роли... Своя профессия попросту и без затей стала для Дужкина от этого еще дороже...

- Вот я вам случай на этот счет расскажу из собственной моей практики. Приезжал к нам сюда корреспондент один. Долго ли прожил у нас, коротко ли, а обругал всех. И обругал, я вам доложу, на славу, хлестко. Скупщики - разбойники натуральные, башибузуки турецкие, на святой Руси болгарские зверства делают. Хорро-шо-с. Прочитали мы, молчим, - не впервой, привыкли!

Только попадись эта газета в Твери молодому купцу. Отец денежки копил, а сын в университете обучался. Старик умер, сын прямо из университета - за дело. Капитал агромадней-ший, хочется и образование свое показать, и главного приказчика себе подыскал, который окончил курс гимназии.

Вот прочитали они газету и возмутились. Ка-ак! В России болгарские зверства! Мы этих скупщиков в лоск уложим!

Призывают для начала одного приказчика, из простых, настоящих, который из мальчиков лямку тянул, и посылают к нам, в Павлово, с таким расчетом, что, дескать, купить на тысячу рублей товару, а между тем временем и присмотреться, как нас уничтожить, с которой стороны за нас, за разбойников, приниматься... А как я еще с стариком дело имел, то и послали парня этого ко мне, с письмом: дескать, имеем нужду в павловском товаре, так помогите. И список составили, и даже проставили цены, по своим соображениям, по ученым, чтобы и кустаря как-нибудь, сохрани господи, не обидеть.

Отлично. Посмотрел я список, подивился про себя. Однако, как это дело не мое, - помог. Купили, укупорили, отправили. Через сколько-то времени едет приказчик опять, и опять список, - товар другой, цены другие. - "Ну, что, мол? Как расторгвались?" Ухмыляется парень: - "Плохо". - "Хлебнули шилом патоки?" - "Маленько. Рублей на шестьсот убытку". - "Так. А кто у тебя хозяин? Никак из университета?" - "Так точно". - "А главный приказчик?" - "Гимназист". - "Отлично. Стало быть, университет да гимназия. А мы с тобой люди простые, не ученые, не балованные?" - "Где нам-с". - "Ну, так давай-ка ты список сюда". Да по списку этому карандашом, чирк, чирк, - и захерил все. - "Ну, давай теперь мы с тобой свой список составим, не по-ученому, а по простому нашему разуму. Вот за это - и дороже можно дать, потому что товар теперь в ходу, а этого вот и даром, ежели дадут, не бери, - не надобен, нипочем".

Купил ему таким способом весь сортамент, присланные деньги извел, да еще от себя на такую же сумму прибавил. Вези, друг милый, да поучи маленько ученых людей!

Через небольшое время опять ко мне парень на двор, с письмами да с поклонами. "Велели кланяться, благодарят за наставление, просят впредь наукой не оставлять". - "Поняли, значит?" - "Как не понять, помилуйте-с. То убыток был, своего не выручили, а теперь в полгода с барышом растоварились". - "То-то, мол, скажи, пусть газет не читают. По газетам хорошо разговоры разговаривать, по наукам лекции читать, а торговое дело надо по старине вести, как люди ведут..."

Дмитрий Васильевич помолчал, нервно побарабанил пальцами и резко повернулся опять ко мне.

- То же самое и Борис Платоныч, господин Дорошенко. Слушал я его, слушал,- ну, а как стал свой университет проходить, и думаю: погодите, Борис Платоныч, высоко летаете, куда-то сесть придется...

И действительно, после смерти отца дела красноречивого противника скупщиков пошатнулись. А тут под рукой хорошо изученное "дорогое" кустарное дело, а тут под рукой и помощник, тихо, смиренно, с затаенным горьким смехом в душе предложивший свои "непросвещенные", скромные услуги. И вот опять теоретический университет попадает под руководство университета "практического". "Фигурная личность", блестящий оратор, громивший скупку и поселявший сомнение даже в скупщицкой душе, Борис Платонович, уронивший Дужкина даже в глазах его собственных приказчиков, очутился, наконец... хотя и не прямо, не непосредственно, но все же очутился за скупщицким прилавком, и трепетный огонек у входа в мрачные пещеры осветил также и дорошковскую долю этой операции.

Дмитрий Васильевич отплатил своему сопернику истинно по-христиански: он берег его интересы так ревниво, как не берег даже своих; при каждой новой удаче бывшего оратора на губах скупщика являлась такая радостная улыбка, как будто барыши приходились на его собственную долю. Нет, за себя он не мог радоваться такою радостью. Тут была доля старого чувства, тут отдавалась дань юности, ее заданным стремлениям, ее горькой зависти, ее нравственным унижениям и глухой борьбе. Скупщик отдавал ученому барыши по счету на бумажки, а себе брал у прежнего Дорошенка, у красноречивого оратора, у строгого проповедника, иные барыши, без счета. Он говорил себе с торжеством, что он, а не они правы, что они пошли его путем, значит, путь этот верен, что его родитель не напрасно вырвал суровой рукой из юного сердца трепетавшие в нем когда-то ненужные придатки и обманчивые грезы! Это было торжество и вместе оправдание,-оправдание и давно умершему экономическому человеку, лежавшему в могиле, и новому экономическому человеку, который выходил теперь на свой путь уже без малейших сомнений, даже, без малейших остатков горечи, превратившихся в сознание удовлетворения и торжества...

И вот в один прекрасный день, почтительно, но с явной улыбкой, немолодой уже Дужкин взглянул в глаза немолодому Дорошенку и сказал своим жестким голосом:

- А что, Борис Платоныч, помните ли вы ваши прежние речи? Пожалуй, ведь и сами теперь... тоже болгарские зверства производите?

Оратор сдался. Он зачеркнул все, что говорил когда-то в том самом городе, в присутствии того самого человека, который теперь пристально смотрел ему в глаза.

Была как-то кустарная выставка в Харькове... Выставка не удалась, все лезло врозь, экспоненты остались недовольны, недовольна осталась публика, недовольны газеты. Триумфатором вышел один Дмитрий Васильевич Дужкин. Он получил награды, почетные отзывы, его товар обратил на себя всеобщее внимание, и, наконец, в том самом городе, а, может быть, даже в той самой зале, где некогда раздавались громовые речи против "египетского рабства" кустарей, - теперь Дорошенко торжественно сознался в своих прежних заблуждениях. Нет, благородное скупщицкое сословие является необходимым звеном в кустарном организме. Это - просвещенные коллекторы, совершенствующие производство!

И Дмитрий Васильевич, разгорячившийся от молодых воспоминаний и недавнего торжества, смотрит мне в глаза, и взгляд Дмитрия Васильевича как будто спрашивает у меня, молчаливого слушателя этой драмы: "Ну, чья же школа лучше?"

XIV. О торговом деле и баловстве

- А Николай Петрович Зернов? - спросил я как-то невольно. - Ведь и Николай Петрович тоже... из университета?

Дмитрий Васильевич привскочил со стула.

- Что ж такое Николай Петрович? - позвольте спросить. Ничего и не вышло.

- Да, но отчего?

- Отчего? А вот я вам скажу отчего.

Он нервно взял стоявший на столе стакан и поставил его передо мной, крепко стукнув донышком.

- Видите: стакан. Не велика штука, нехитрая, какие тут узоры, - вон грань одна, больше ничего. Так. А тридцать лет назад делался этот стакан с кромочкой. Значит, тогда спрос один был, теперь спрос другой. Дай вам теперича стакан с кромкой, вы скажете: нет, не желаю, дайте мне новейшего фасона. Верно?

- Верно.

- Так то стакан. А теперь возьмите замок, - тут сколько сортов, да сколько фасонов!.. Сейчас вот медная штука приделана, только и есть разницы. А между тем эта штука пускает замок в ход, от этой штуки поплывет этот замок рекой, а уж другой который-нибудь останавливается. Так ли я говорю? Ведь на это есть спрос, штука весьма, скажу вам, капризная! Вот я о себе, не хвастаясь, скажу: по Харьковской, да по Московской губернии все знаю, настоящий профессор. Чуть маленько один товар позамялся, уж у меня ушки на макушке, - отчего? Другой опять тронулся шибче, - какая причина? Сейчас соображаю: тут попридержу, там повыпущу! Потому что в том мы полагаем свою выгоду и места эти нам стали известны... Сколько теперь этого железного товару через руки прошло. Ведь он, замок-то, всякий бывает. Есть замок по рублю за штуку, и есть замок по сороку копеек десяток. Опять есть замок с секретом, а есть и такой, что возьмите вы их десять, только один отпирается. Значит, в одно место требуется одно, в другое место - другое.

- Куда же, однако, - спросил я, - может требоваться замок, который вовсе не открывается?

Дмитрий Васильевич посмотрел на меня взглядом снисходительного превосходства и сказал не без некоторого пафоса:

- Россия, милостивый государь, государство агромаднейшее... тут всякая дрянь сойдет!

И, не останавливаясь дальше на этом предмете, продолжал с увлечением:

- Так вот-с! Которому человеку это выгодно, кто этим с малых лет занимается, тот может все уследить. А другому как узнать? Вот и говорю я Николаю Петровичу: - "Не выйдет у вас". - "Нет, выйдет". Ну, хорошо, я об себе не стал утверждать, пусть я не понимаю, а только говорю, что не выйдет. И не вышло!

Почему не вышло?.. А вот почему-с. Был тут, например, мастер один, Рябов по фамилии. Делал замок, называемый рябовский, и был тот замок "введенный". Хочешь, не хочешь, а без рябовского замка торговать невозможно, потому что придет оптовый покупатель, спрашивает: "Дай ты мне, говорит, на пятьсот рублей чего хочешь, да на пятнадцать целковых рябовского замка". Не дашь, и остального товару не продашь, в другое место покупатель уйдет. Работа, что говорить, чистая была, известная, и свое клеймо!

Вот приходит раз этот Рябов, приносит замки. Я и говорю: теперь, Михайло Петрович, вашего замка у меня довольно, а надо мне вот какой, скажем хоть, для примера, балагурский.

- Как так? - говорит. - Мне, говорит, балагурский не столь уже выгоден. На своем я сорок копеек получаю, на балагурском четвертак. Какая же мне надобность? Не желаю.

- Как хотите,- говорю,- а покамест должен я переждать с вашим замком.

На следующей неделе тащит опять свои. Делать нечего, человек нужный, беру. - Сделайте одолжение, Михайло Петрович, приносите мне балагурских.

- Не желаю.

- Воля ваша, неприятно мне это, да уж хоть разладиться с вами, а больше теперь брать не могу.

Потому что уж я замечаю: замялся этот замок, задерживается в лавках. Думаю, может, на короткое время стал, а там и опять пойдет; ну, а бывает и то, что вовсе из моды вышел. Значит, мертвое дело. А мастер только свистит.

- Наплевать! У нас теперь артель. В артель сволоку. И то давно зовут.

- Как вам угодно. И нежелательно мне с вами расставаться, а больше мне не под силу.

Ну, и ушел в артель. И горюшка себе не знает: наделает и сдает свои замки, наделает и сдает. А там все берут, да все берут. Навалил груды, а между тем замок этот на рынке и вовсе стал, кончилась мода, а они и не заметили. Набрали всякого добра много, возят с места на место: на ярмарке торгуют, в Москве, в Петербурге, в Урюпине шилом патоки хлебнули... Наше дело требует сноровки, где шажком, где ползком, где и поклониться. Вот я вам опять-таки случай расскажу, со мной и дело-то было. Приезжает каждый год в ярмарку купец из Сибири, Кабалов, ежели слышали. И каждый год все на тысячу рублей у меня товару берет; не то что павловским товаром торговлю ведет, а так, между другими предметами и наш годится. Только раз и говорит мне этот купец: "Ваш мне товар ни шьет, ни порет; ни барышу от него настоящего, ни убытку: возьмишь его - сойдет, пожалуй, не возьмишь - и без него обойдется дело. Уж и то думаю, тысячу рублей не на другое ли что оборотить?" Намотал я эти слова на ус. На следующую ярмарку, жду-пожду, не является ко мне приказчик ихний. Плохо дело, - на тысячу рублей не продать, тоже изъян. Иду к самому в гостиницу. "Спит, через час приходите". Прихожу через час - на биржу уехал. Я на другой день. "Принимают?" - "Спит, приходите через час". - "Ничего, я в передней обожду, человек небольшой". Сел, сижу себе смирененько. Вот, слышу, проснулся, оделся, через малое время выходит в пальто. Увидел меня, кивнул только головой.

- А, это вы?

- Я-с. По делу.

- Некогда, завтра приходите.

- С нашим удовольствием.

На утро опять та же история: "Приходите послезавтра", - а продежурил я у него на этот раз уже два часа. На третий день, как увидел меня на месте, так даже удивился.

- Все ходишь? - говорит.

- Хожу, по приказанию вашему.

- Я, - говорит, - думал: ты обидишься и ходить бросишь.

- Помилуйте, говорю, молод я еще на людей обижаться, которые более меня стоят.

Посмотрел на меня старик, усмехнулся, протянул руку:

- Видна, говорит, птица по полету. Вы, говорит, молодой человек, имеете ум. Люблю умных людей. Не угодно ли со мной в гостиницу отправиться, там и о деле потолкуем.

Отправились, столкнулись. И до настоящего времени, вот уже двенадцатый год, все берет товар. И не надо бы иной раз, а берет. Вот как наше дело идет-с. Всякое дело своего ума требует, а в нашем деле ум требуется покорный.

Да это и во всяком деле так-с... Да это и во всей жизни так. Страх - начало премудрости, это сказано недаром. Умный человек сам себя в страхе держит, сам на себя покорность налагает. Глупого человека чем удержишь? - нуждой-с! А без страха один разврат, непокорство, баловство! Товарищества, артели, помощь бедным... - Куда это вы, господин мастер, спешите? "Иду в артель деньги получать". За что? Для чего? Баловство одно! - закончил Дмитрий Васильевич, стоя передо мной и страстно сверкая своими глубокими черными глазами.- Баловство! Потачка! Рубь сберечь - вот чему народ учить надо.

- Но из чего же сберечь, Дмитрий Васильевич?

- Из чего?

Дмитрий Васильевич посмотрел на меня глубоким взглядом.

- Из чего? А вот из чего-с! Я вам сейчас расскажу из чего-с.

XV. О Мишаньке, праведном стяжателе

- Все-таки был я, милостивый государь, счастлив и от бога взыскан, что мне еще ив нынешний век люди попадались. Настоящие. Стар-ринного закалу, негордые, имеющие разум, который дается от бога. Вот я вам про такого и расскажу.

Был тут, не в дальнем селе, коваль один, - много лет на меня тот человек работал. Мужик хороший, аккуратный, дело из рук не валилось, пьяного я его не видал, в глупостях этих, которые теперь в народе встречаются, тоже не замечал никогда. Ну, и тоже надо сказать, много лет и добродетели в нем настоящей не замечал, потому что настоящая добродетель все одно, как червонец на дороге. Сколько раз мимо пройдешь, а ногой, пожалуй, наступишь, и не видишь. А случай подойдет, он вдруг блеснет и объявится...

Так было и тут.

Приходит раз мужичок этот ко мне, сдал клёпань, веселый. "Ныне, говорит, Митрий Васильич, радость у меня".

- Что такое?

- Вы меня, Митрий Васильич, знаете, не пьяница я, в карты не играю, как иные прочие, баловством тоже никаким не занят. Бабу мне бог послал - золото! Работали мы, работали, труждались, можно сказать, неустанно, добились до настоящей суммы, которую себе положили. Вот они - получил теперича от вас последнюю десятку; сколько годов мы ее, родимую, ждем, ждем! Теперь я, Митрий Васильич, обеспеченный человек: избу строю, кузница у меня станет в огороде новая, дров, углей - на год запаса. Теперь я, говорит, сам себе господин.

Посмотрел я на него. Не понравились мне, признаться, его похвальные речи.

- Это все, говорю, хорошо. Дай тебе бог. А только, Мишанька, говорю, ты не загордился ли? Этак же один говорил: "построю житницы... душе моя, яждь, пей, веселися". А господь слушает, да говорит про себя: "погоди-ка, гордый человек, я тебя ноне ночью возвеселю". Потому что богу это не угодно, что человек сам

себя от страха освобождает. И что ж вы думаете? Прошло сколько-то времени, приходит ко мне тот Мишанька, обливается слезами.

- Вот, говорит, Митрий Васильич, какое дело вышло. Исполнилось по вашему слову, посетил меня господь за грехи: дом сгорел, кузница новая сгорела. От нее и огонь пошел. Пал огонь на поленицы да на уголь, - запас весь как есть пригорел, синь-пороха не осталось; сами с бабой еле живы от господя убежали, струмент, и тот не пощадила сила господня. Потому что посетил нас в самую полночь... Теперь беднее я бедного, вот перед вами весь тут, как меня видите.

Плачет! Да и заплачешь. Подумайте сами: сколько лет копил - и все в один миг прахом пошло.

- То-то, говорю, Мишанька. Раненько возликовал. Видно, хочет господь тебя испытать горькою долей. Приемли, Мишанька, со смирением.

- Да, уж, видно, говорит, его, батюшку, не переспоришь. Возьмите меня, Митрий Васильич, к какому ни то делу. Сделайте милость.

- Что ж, говорю, приставить, конечно, можно, отчего не приставить. Только, как у тебя даже и инструмент господь отнял, то, видно, уж тебе не в мастерах быть, а в сторожа ко мне идти.

Заплакал мужик, Подумайте: мастер, век в своей кузнице на себя работал, а тут в сторожа! А делать нечего, спорить не стал. Нужда!

Приставил я его двор караулить, два рубля сорок в неделю, бабе тоже дело нашлось. Два сорок, на своих харчах! Много ли денег-то?.. после прежнего-то достатка?

Хорошо. Вот приставил я его и посматриваю, как мой Мишанька смиряться будет, как сам себя поведет. Ничего! Караулит усердно. И смиряется... Прежде в комнатах у меня сиживал, чай вместе пивали, а теперь на чернорабочем положении, у ворот с дубинкой сидит; а увидит хозяина издали - встает, шапку в руки. Вижу, мужик с понятием. И на стороне тоже прислушиваюсь: не ропщет ли? Нет, ничего не слышно.

Только начинаю вдруг замечать одно обстоятельство. Всю неделю мой Мишанька укрепляется, по субботам слабеет. Раз прохожу - плачет сидит у ворот. Что такое, думаю, а сам, конечно, виду не показываю. Другой раз вижу, - уже и баба с ним, - выбежала из стряпущей, села рядом с мужиком - разливаются, конечно, потихоньку. И так у них пошло: как суббота, да смеркнется, гляжу: они за свое: сидят рядышком и плачут... Долго я понять не мог... Ну, наконец понял.

В комнате, где мы разговаривали с Дмитрием Васильевичем, сгустились сумерки, а свечей еще не приносили: Мне видны были только общие, неясные очертания его фигуры; он то вставал, то нервно ходил по комнате, утопая в дальнем углу и затем приближаясь ко мне. Теперь он стоял передо мною, и его бледное лицо, с черными глазами, пятном выступало из темноты. Его голос как будто отмяк. Рассказ о Мишаньке, о его смирении, о субботних слезах, видимо, доставлял этому человеку некоторое эстетическое волнение...

- Понял я! Уразумел, в чем дело. Вспоминал мой Мишанька благополучную жизнь в своем доме, на своей воле. Церковь-то у нас под боком. Вот как смеркнется, да заблаговестят, ему и вспомнится, как, бывало, в прежнее время, молот под печку, инструмент сложит, приоденется, да к вечерне, да свечечку к образу Михаила-архангела.

А теперь нельзя! Карауль!.. Вот поэтому-то всю неделю мужик укрепляется, а в субботний вечер, как суета стихнет, рабочие разойдутся, - у него на сердце накупит и подымется. Церковь видна: в окнах огни светятся, из домов народ потянулся, колокола бом да бом, бом да бом! А ты, сторож, сиди у ворот, потому что нет своей воли, нет своо дому, и должен ты, сторож, чужие ворота караулить...

Вот и сидит, дела справляет аккуратно и плачет...

Застал я раз Мишаньку на таком случае, - не успел он и слез обмахнуть, - да и говорю: "Что, Михаил Мосеич?.. Прискорбно вам у меня служить, так ведь мы не держим. Люди вы вольные!"

Встал он, поклонился. Попросил прощения... Я догадываюсь; да не подаю вида... Что будет дальше?

Проходит этак с полгода. Мишанька мой караулит, по субботам поплакивают с бабой, но уж украдкой. Только в один день, праздничным делом, говорит мне прислуга: "Михайло пришел, просит его допустить". Я, грешный человек, подумал: "ну, зароптал Мишанька иль прибавки станет просить". Да нет-с, ошибся!

- Вот, говорит, Митрий Васильич, господин хозяин. Много доволен вашими милостями. Пособил мне господь от милостей ваших сберечь двадцать пять рублей, четвертной билет. Извольте принять от меня на сохранение. У вас целее будут.

Видали? Из двух-то сорока в неделю четвертной билет! Ну, думаю, Мишанька, - человек ты, видно, настоящий... Однако, виду не показываю, взял билет, спрятал. А ему на бумажку номер выписал. О расписке - ни слова.

Еще сколько-то времени прошло, опять четвертной билет. И все, заметьте, на том же положении, и все ведь по субботам тихонько плачет. Взял я и этот билет, положил к прежнему в пакет, а на пакете написал: "сии деньги принадлежат Михаилу Моисееву". На всякий случай: в животе и смерти бог волен.

Ну, еще через пять месяцев опять билет, - стало быть, это уже составилось семьдесят пять рублей. Как принес он мне эти деньги, я отворяю столик, вынимаю прежние.

- Помнишь, Мишанька, номера?

- Помню, - говорит.

- Посмотри, те ли?

- Они самые.

- То-то. Я твоих денег в оборот не пускал, как при тебе положены, так и лежали все. Да и никогда я таких денег не потревожу, такие для меня деньги... святые-с.

Дужкин остановился. В темной зале стояло некоторое время молчание...

- И долго он у вас караулил таким образом? - спросил я. Дмитрий Васильевич не ответил.

Сумрак в неприятной палате скупщика все сгущался. Дмитрий Васильевич ходил по комнате и опять говорил. Видимо, он увлекался изложением заветных взглядов, и слова, жесткие, точно отчеканенные, определенные и суровые, так и лились у него с языка. Но я уже не вслушивался... Я понял Дмитрия Васильевича, и подробности его программы не могли уже сказать мне ничего нового... Это была обыкновенная программа экономического человека.

Когда внесли свечи, - его речь как-то сразу оборвалась... Казалось, свет отрезвил моего собеседника, и в его пытливом, пристальном взгляде я прочитал что-то вроде тревожного вопроса: уж не высказал ли он слишком много?

Я стал прощаться.

- Прощайте-с... - сказал Дмитрий Васильевич, провожая меня до дверей.- Да! вот мы так и думаем об этом деле... Теперь опять появились эти глупости в нашем селе, может слышали? Ломбарду просят... И человек нашелся, который им прошение пишет... рефераты читают в Москве, в Петербурге... Что ж! Мы тоже не без языка, тоже можем кое с кем потолковать. Говорил уж исправнику: вы знаете ли, кого мы тут в Павлове имеем? Весь даже затрясся, как услышал. "А! То-то, спохватились, да не поздно ли?"

- Однако, Дмитрий Васильевич, неужели такая страшная вещь - прошение от кустарей, что это может беспокоить исправника?

- Замечаем мы: с этих самых пор, как завелся этот музей да прошения, народ волками смотрит...

Мы попрощались.

Заключение

Когда я вышел из ворот дужкинского дома и прошел несколько шагов по улице, от забора отделились вдруг две темные фигуры и подошли ко мне.

В одной я узнал Аверьяна. Деревенский остроумец, зачем-то оставшийся до вечера в Павлове, пожимался от холода и имел угрюмый вид.

- Что, наслушались дужкинских речей? - сказал он, догнав меня и идя рядом.

- Наслушался,- ответил я.- Да и есть чего послушать: человек умный.

- Коли не умный! - сказал Аверьян.

Со стороны небольшой фигурки, вприпрыжку бежавшей за нами, послышался вздох. По этому вздоху я узнал смиренного человека.

- А, и вы здесь!

- А то где же? - грубо перебил Аверьян. - Сколь времени дожидались. Видно, у скупщика чаем вас потчевали, да, видно, сладко...

- Да вы зачем же ждали? Мне почем было знать.

- Будет вам уж по скупщикам ходить. Пошли бы нашу бедноту посмотрели, мы бы вот и свели вас куда надо... Идете, что ль?

Мы пошли кривыми переулками и взъемами и скоро вышли в поле, на какую-то гору. Ветер вздымал струйки сухого снега и крутил их в воздухе, перекрывая холодные звезды. Последние огоньки крайних избушек как-то сиротливо светили на широкий пустырь, угрюмо расстилавшийся в морозной дали. Мы подошли к каким-то рытвинам, ямам и развалинам.

- Вот тут первый завод ставлен, от него и ямы остались,- сказар Аверьян.

Я остановился в невольном раздумье. Так это Семенья гора, а это первый очаг павловского производства? Здесь стоял первый заводский горн, здесь громыхал молот, здесь добрый помещик видел своих людишек в аду и думал их вывести, потушив заводские огни?..

Резкий ветер, налетавший из клубившейся морозною пылью пустой и темной дали, не позволил мне предаваться долгим размышлениям, тем более, что Аверьян уже шел по направлению к ближайшим огням и нетерпеливо звал меня за собой.

Через несколько минут он исчез, согнув свою могучую спину, в какой-то лачуге, и вышел оттуда с небольшим человеком, в огромной шапке, в таких же огромных валенках и в переднике. Человек этот почтительно поклонился, поздоровался со всеми за руку и предложил мне себя в провожатые.

Затем мы начали свой обход.

Я не стану утомлять вас подробностями. Сам я, обойдя несколько домов, где меня встречали очень радушно, а иногда с какою-то безотчетною надеждой, попросил у Аверьяна пощады... Но неумолимый Аверьян шел из дому в дом, от лачуги к лачуге, развертывая передо мной картины одну безотраднее другой...

Прежде всего мы подошли к крохотной избушке, лепившейся к глинистому обрыву. Таких избушек в Павлове много, и снаружи они даже красивы: крохотные стены, крохотные крыши, крохотные окна. Так и кажется, что это игрушка, кукольный домик, где живут такие же кукольные, игрушечные люди.

И это отчасти правда... Когда мы, согнув головы, вошли в эту избушку, на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежавших трем крохотным существам.

Три женские фигуры стояли у станков: старуха, девушка лет восемнадцати и маленькая девочка лет тринадцати. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно: девочка была как две капли воды похожа на мать, такая же сморщенная, такая же старенькая, такая же поразительно худая.

Я не мог вынести ее взгляда... Это был буквально маленький скелет, с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было просто страшно, зубы оскаливались, на шее, при поворотах, выступали одни сухожилия... Это было маленькое олицетворение голода!..

Да, это была просто-напросто маленькая голодная смерть за рабочим станком. Того, что зарабатывают эти три женщины, едва хватает, чтобы поддерживать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села. Но жизнь все-таки тлеет, и все-таки под ее влиянием и здесь, в крохотной избушке, старое старится, молодое растет. Но только голод и непосильная работа страшно уравнивали старое и молодое; одни глаза девочки, смотревшие мягко, жалобно, с безмолвным вопросом и как будто с немою просьбой о пощаде, сразу указывали возраст этой крохотной кустарной работницы.

Такой детский взгляд выносить очень трудно. Старики много знают или уж очень много забывают. Наконец, старики, так или иначе, погрешали уже против жизни. Но дети неповинны в ее неправдах, и потому у них сохраняется какое-то странное инстинктивное сознание или, вернее, воспоминание о своем естественном праве. За что они страдают? Где тут правда? Когда такой глубоко-сознательный детский взгляд устремляется на вас и в нем светится раннее страдание и этот упорный вопрос, вам нечего ответить, и вы невольно отворачиваетесь, чтобы только избежать этого безмолвного, тяжелого упрека...

Эти три существа работают с утра до ночи, занимаясь отделкой замков. Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходною работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протягивающего на улицах руку, - да это рай в сравнении с этою рабочею жизнью!

- Вот она в корню у меня, - указала старуха на старшую дочь. Та отличалась от обеих тем, что гораздо более походила на живого человека, хотя ее лицо тоже было бледно и нездорово. Тем не менее она отдавала даже некоторую дань кокетству, если не одеждой, которая была также бедна, то хоть прической, по-городскому, с чолкой...

Пусть осуждает, кто может!

Я отдал девочке несколько денег, и вышел, отвернувшись, чтобы не видеть жалкой улыбки, странно заигравшей на этом ужасном лице. Но я все-таки унес ее взгляд с собой, на темную павловскую улицу.

Я не привожу вам цифр их работы и заработка. Кругом - на окнах, на лавке, на стенках - я видел груды отделанных по белому замков, а только что описанная картина говорит о результатах этой работы красноречивее, чем могли бы сказать самые точные цифры. Если же кто заподозрит меня в преувеличении, то описанная мною избушка, да и много таких избушек, стоит все на том же месте. Стоит только спросить вдову Прянишникову (она же Блударева) - на Семеньей горе. Мне не раз приходилось жалеть о том, что я не живописец, но никогда я не жалел об этом так сильно, как в этот раз. Да, достаточно было бы нарисовать эти

три фигуры, и, может быть, мне незачем было бы тратить так много слов на изображение павловского кустарного строя.

Выйдя из этой избы, мы подошли к большому, двухэтажному темному дому. Мрачное старое здание село передними подгнившими венцами, как обессиленное животное, упавшее на колени. Окна уже вросли в землю, а крыша наклонилась вперед,

И опять дети!

Наш провожатый отворил дверь, и мы вошли в сени. Огня нигде не было видно, но откуда-то из темноты слышался несмолкающий детский плач. Удары в запертую дверь прозвучали резко и громко, отдаваясь в верхней нежилой части старого дома.

Послышалось быстрое шлепанье босых детских ног, остановившееся у двери. Голос другого, плачущего ребенка не смолкал. Он то всхлипывал, то "заходился" от неудержимого плача.

- Тятка, ты? - спросил из-за двери мальчик, по голосу лет пяти.

- Отопри!

- Да ты кто?

- Иван Афанасьев.

- Не знаю я. Тятки нету. Ах ты, господи!.. Молчи ты, Митенька, молчи.

Ноги зашлепали быстро в глубь избы, и слышно было, как мальчик уговаривает братишку. Через минуту опять он подбежал к двери.

- Вы здесь еще?

- Здесь.

- Не пуцу я. Тятка ушел.

- Куда?

- Пальто в залог утащил.

- Зачем без свету сидите?

- Свечка догорела. Мамка пошла свечку просить, да вишь долго не идет. Боюсь я.

И голос мальчика тоже вздрагивает. Но в это время маленький опять заливается, наш собеседник бежит к нему, а мы стоим в нерешительности.

- Мамынька, темна-а... - слышится горький плач.

- Молчи, вот тятка придет.

- Темна, темна-а... А, мамынька, темна-а-а... - продолжает заливаться тоненький жалобный голос, и этот крик я опять уношу с собой на улицу, пускаясь дальше за Аверьяном.

Мы подходим к третьему дому. Изба просторная, светлая, на стенах обои, небольшое зеркальце, кровать с занавеской. Но навстречу мне сверкает испуганный взгляд, очевидно задавленного судьбою, пришибленного человека. Узнав, зачем мы пришли, он успокаивается и из мастерской приглашает нас за перегородку, где у стола сидит его жена и ковыряет шилом громадный валенок. Она полой кафтана стирает пыль со стула и

приветливо приглашает нас садиться. Женщина еще молода, и на ее лице из-под бледности и печали проглядывают следы красоты. Во всей квартирке еще видны следы недавнего достатка.

- Что вы это делаете - для себя или по заказу?

- Людям, на сторону. Вот чем кормиться пришлось, - говорит она, стараясь улыбаться. Сначала улыбка эта действительно освещает лицо, но тотчас же губы молодой женщины вздрагивают, и смех покрывается плачем.

Над этой семьей висит неотвратимая невзгода: недавно в доме, в передней избе, где мастерская, рухнул потолок. Это происшествие, надо заметить, очень часто теперь в кустарном селе: я был в Павлове раза четыре, и из них два раза в мою бытность проваливались потолки. Стоит, стоит, да вдруг рухнет. Обвалилось в одном месте, там в другом, там в третьем...

На этот раз задавило мальчика и сильно ушибло хозяина. Его испуганный, пришибленный взгляд - это взгляд человека, которому грозит долгая болезнь, при невозможности работать, то есть гибель, потому что в кустарном строе нет даже слабых попыток обеспечить рабочего от случайности. Настигло человека невзгодье - и гибель идет на семью неотвратимыми, неумолимыми шагами. А кругом такие же избушки, грозящие таким же падением, только жмутся от страха и ждут своей очереди.

На полу, в куче тряпья, наваленного у перегородки, что-то зашевелилось.

- Что это у вас в рунье? (Рунье - старое тряпье.) - спросил Аверьян.

- А это Марьюшка-дурочка. Вчерась пришла.

- Дурочка это, в руньях лежит и стонет, - говорит мой провожатый, указывая на грудку тряпья с таким видом, как будто я, сторонний человек, могу и не понять объяснения женщины. - Она, дурочка, в полях больше находится. Да, видно, познобилась.

- На колокольне ночевала, - говорит женщина, кидая по направлению к "рунью" взгляд сожаления. - Что делать, не выгонишь... Самим есть нечего, а жалко.

Губы ее опять слегка вздрагивают. Муж бессильно разводит больными руками.

- Да вон, поди ты! Еще лечит меня, даром что дурочка. Покушай, говорит, мелку, мелку покушай. И кушаю, а то доктора совсем отступились. Вишь, дом был разваленной. Все прикапливали маленько, - вот поправим, вот поправим. А он, видишь, не дождался, да и упал... О, господи!

Несмотря на всю тяжесть положения, в этой семье живет еще какая-то надежда, и центром ее, как кажется, является эта бодрая, красивая женщина, зашивающая валенок и призревшая дурочку. На что эта надежда? На здоровые руки жены, на дурочку, от лечения которой мужу становится легче, да на бога... От людей трудно ждать помощи инвалиду труда в кустарном селе...

Наш путь из этой избы лежал опять мимо темного дома, поэтому мы опять завернули в сени, надеясь, что хозяин уже вернулся. Но надежда не оправдалась; в окнах не было огня, и из глубины опять слышался плач:

- Мамынька, темна-а, темна-а...

Описывать ли дальше наш обход по Семеновой горе? Описывать ли эту бедноту за станками, этих голодающих людей, детей, плачущих в темноте, этих кустарных стариков, с горбами на правых лопатках, со впалую грудью с левой стороны, с отупевшим, испуганным взглядом?

Я думаю, довольно. Я не хочу терзать читателя, как терзал меня безжалостный Аверьян. Я и без того боюсь уже, что меня заподозрят в тенденциозности и преувеличениях.

Поэтому я спешу оговориться. Да, таких домов - меньшинство, пожалуй, незначительное. Да, такие картины вы встретите не на каждом шагу. Но они есть, и вы их все-таки встретите немало, и этого, мне кажется, довольно, потому что это нищета трудовая!

Наконец, истомленный безотрадными картинами, раздав уже все бывшие при мне деньги и чувствуя себя совершенно беззащитным, я наотрез отказался следовать за мучителем Аверьяном.

Мы стояли на льду реки Тарки. Холодная изморозь все сеялась сверху, мелькая сеточкой на диске полной луны, вставшей над горами. На нас с крутого обрыва глядели кустарные домики, разваленные крыши, какие-то бревна, торчавшие в хаотическом беспорядке.

Смиренный человек, как и я, смотревший на эту картину, глубоко вздохнул и сказал, обращаясь ко мне:

- Ох-хо-хо. То слепой и жалится, что зги не видать...

А затем, помолчав, прибавил:

- А что я, позвольте сказать вам, Владимир Глахтионыч, думаю... Я думаю, не те ли времена идут, о коих временах сказано: живые позавидуют мертвым?

- Перебой первородный, - подтвердил провожатый, тоже глядя кверху, из-под своей лохматой шапки, на причудливую картину кустарного села, в этом месте как будто валившегося на нас с беспорядочных обрывов.

Мы постояли молча. Я понимал настроение кустарей: ведь здесь для них весь божий мир. А их мир покачнулся и грозит падением. Мудрено ли, что им это кажется чуть не настоящим светопреставлением...

- Ну, полно каркать, - первый прервал наступившее молчание Аверьян. - Вы лучше вот что: пойдём-ко-те еще в одно место, где маленько повеселю.

Я согласился и конец вечера провел в сравнительно достаточной рабочей семье. Здесь меня угощали чаем за столом, где хозяйка сидела вместе с рабочими. Набралось еще постороннего народу, и мы долго толковали о судьбах кустарного села. Семенова гора - почти сплошь все варыпаевцы. Старики рассказывали о бывшем старшине и о борьбе его с богачами, и у молодежи сверкали глаза при этих недавних еще воспоминаниях... До сих пор все-таки жив еще этот павловский раздор, до сих пор это самое чувствительное место, на котором тлеют павловские страсти.

Рано утром, задолго до света, я опять ехал, лежа в санях, по той же дороге, на которой несколько дней назад встретил Аверьяна. Только теперь огоньки Павлова, его горы, купола церквей и лачуги на обрывах остались сзади, а навстречу мне надвигалась, клубясь, развертываясь, отступая и колыхаясь, неопределенная тьма зимней ночи. И в этой тьме виднелись мне опять картины, разговоры, сцены кустарного быта... Аверьян с его сказочкой, "лукавый заводчик", ширяющий на своих крыльях над смятенными улицами, трепетные огни у входа в подвалы, суровые фигуры скупщиков и жмущиеся к огням толпы кустарей... Затем - смиренные кустарные человечки, могучая фигура павловского старшины, бухающий колокол, суровые стяжатели, лучшие из представителей скупщицкого принципа, и бедный Мишанька, тихо плачущий по субботам у ворот дужкинского двора, в виду сияющего огнями божьего храма...

1889-1890

Мултанское жертвоприношение

Два раза в гор. Малмыже и в последнее время (1 октября) в гор. Елабуге, в заседаниях отделения сарапульского окружного суда выносятся обвинительный приговор мултанским вотякам, обвиняемым в приношении языческим богам человеческой жертвы. Если таким образом в данном случае истина является

результатом судебного разбирательства, то мы должны признать следующее. До настоящего времени, то есть до начала XX столетия христианской эры, наше отечество одно только сохранило на европейском континенте человеческое жертвоприношение, соединенное с каннибализмом (принятие внутрь крови жертвы). Каждые сорок лет, в разных местах, в шалашах, в середине или на окраинах вотских селений, ограниченным числом лиц, исповедующих христианскую веру греко-российского вероисповедания, убивается, после продолжительных мучений, человек, из которого вынимаются сердце и легкие, отрезается голова, а труп, по возможности, с полным удостоверением его личности и особенно вероисповедания, выносится на дорогу, где его могут заметить и предать земле непременно по христианскому обряду. Мы должны допустить все это, иначе мултанское убийство остается необъяснимым, загадочным, а приговор - несправедливым осуждением невинных людей. Мы должны допустить это, хотя при этом допущении оказывается, что приблизительно через каждые сорок лет, и особенно после каких-нибудь болезней, дороги вятского края должны быть усеяны обезглавленными трупами жертв, с опустошенной грудной полостью и страшными следами каннибализма. Правда, исследователи вотского быта не могут указать ничего подобного, а в уголовной хронике подобную находку мы встречаем еще первый раз. Правда, представителю ученой экспертизы, допускаяшему на суде возможность жертвоприношения, приходилось ссылаться не на факты, а на сказки и притом не вотского, а черемисского народа, который в каннибализме никем не обвинялся. Все это правда, но мы обязуемся допустить все это, как факт, иначе придется признать, что судом два раза осуждены совершенно невинные!

В частности по отношению к этому делу нам придется мириться с еще более трудными допущениями. Село Мултан со всех сторон окружено русскими деревнями и является как бы островом среди чисто русского населения. Дома села Мултана, в свою очередь, окружают сельский храм, недалеко от которого расположена вот уж около тридцати лет действующая церковно-приходская школа. И нам приходится, однако, допустить, что в полуторах десятках сажень от церкви и школы, в ночь с 4 на 5 мая 1892 года, в шалаше вотняка Моисея Дмитриева висел подвешенный за ноги человек, которого тыкали ножами, источая из него кровь (для принятия внутрь, как намекает обвинение?). И в этом принял якобы участие солдат Тимофей Гаврилов, три года служивший в крепостной артиллерии в Динабурге (Тимофей Гаврилов оправдан в Малмыже, но все обстоятельства его якобы участия в деле приводились все-таки в елабужском процессе.), и Вас. Кузнецов, церковный староста мултанского православного храма? И это было в ту самую ночь, когда, опять в нескольких сажнях от места этого каннибальского жертвоприношения, ночевал в Мултане становой пристав Тимофеев. И затем труп, обернутый пологом, вывезен из села вслед за выехавшим приставом, в девять часов утра, то есть среди белого дня, в мае месяце, то есть в разгар полевых работ, провезен, опять-таки днем, среди работающего народа, по полям русских крестьян и положен на пешеходную тропу, без головы, но с клоком волос в грязи, с посохом, с крестом, с удостоверением личности. При этом его должны были, опять рискуя встретить кого-нибудь среди белого дня, нести на руках на расстоянии около полуверсты до места, где его увидела спустя полчаса после этого проходившая мимо крестьянская девочка!

Мы должны допустить все это, иначе опять-таки придется признать, что два раза судом постановляется несправедливый приговор и что второй уже раз осуждаются в каторжные работы невинные.

Я сейчас только вернулся из Елабуги, где происходило судебное разбирательство. После суда я посетил Мултан, был на мрачной тропе, где нашли обезглавленный труп Матюнина, сделал снимки тех мест, где совершилась таинственная и мрачная драма, входил в шалаш умершего Моисея Дмитриева, где будто бы Матюнин висел на перекладине и где из него источали кровь; я ходил по изрытому полу шалаша, где искали (напрасно) следов его крови, и на полке, в углу шалаша отыскал запыленный образок Николая Святителя, который, если верить обвинению, глядел с своего места на каннибальский обряд. Я еще весь охвачен впечатлением ужасной, таинственной, неразъяснимой драмы, я привез с собой (разделяемое, надеюсь, всеми присутствовавшими на суде интеллигентными зрителями) тяжелое чувство, с каким был выслушан обвинительный приговор, - и мне хочется крикнуть: нет, этого не было! Нет, наше отечество свободно от каннибализма накануне XX века, нет, рядом с христианскими храмами не совершаются уже человеческие жертвоприношения!..

Но я понимаю, что истерическими криками тут не поможешь, поэтому предлагаю вниманию читателей прежде всего сухой материал для суждения об этом деле. Как известно, первый приговор по этому делу кассирован сенатом. Кассационная жалоба, поданная защитником, основывалась на чрезвычайно веских мотивах. Читая эту жалобу, изумляешься невероятно легкому отношению, которое сарапульские судебные власти проявили к этому делу. На убийство с целью жертвоприношения посмотрели, как на самое заурядное убийство. Труп дождался вскрытия в течение целого месяца! Акт вскрытия составлен самым удивительным образом. Так, например, одна из важнейших примет преступления - пятна на теле убитого, которые, по мнению обвинения, произошли от прижизненных уколов ножами, - описаны так: "По соскабливании кожицы обнаружено, что пятна проникают на 1 линию в толщу кожи". Число их определяется от трех до десяти. И этот акт не возвращен руководившим следствием товарищем прокурора для дополнения, хотя бы только для счета колотых ран, нанесенных жертве, может быть, с целью принятия внутрь ее крови! И на этих пятнах, на которых уже после смерти Матюнина выросла "верхняя кожа", обвинение настаивает до конца, как на доказательствах прижизненного мучения обескровленной жертвы (несмотря на то, что сам врач, производивший вскрытие, горячо протестовал против такого объяснения). Становой пристав сам должен был признать на суде, что понятия-вотьяки приносили ему вещественные доказательства, в виде щепок с подозрительными пятнами, найденные недалеко от места нахождения трупа. Но он уничтожил эти вещественные доказательства, признав их не имеющими значения, и об этом не упомянул в протоколе!.. Подсудимые-вотьяки, не знающие тонкостей судопроизводства, были лишены возможности вызвать свидетелей. К защитнику они обратились лишь за десять дней до суда, и защите пришлось довольствоваться свидетелями, забракованными обвинительной властью. Между тем само обвинение загромодило судебное следствие показаниями о слухах, неизвестно откуда исходящих. Это были даже не просто слухи, а слухи о слухах. Сенат привел это прямое нарушение закона, как мотив отмены первого приговора. Но что же? Слухи о слухах остались в обвинительном акте, и на этом основании товарищ прокурора воспроизвел в своей речи, например, показание свидетеля Львовского, который слышал данное обстоятельство от неизвестного ему вотьяка, имени, отчества и места жительства которого не помнит. Но и этот таинственный вотьяк рассказывал свидетелю не как очевидец, а тоже по слухам, которые донеслись неведомо как с чужой для него Учурской и Уваткулинской стороны, где будто бы есть обычай человеческих жертвоприношений. И на этом-то сведении основано, между прочим, объяснение одного из важнейших обстоятельств дела - появление обезглавленного трупа на дороге.

Можно было ожидать, что после первой кассации приговора сарапульский окружной суд поймет, что перед ним дело, в правильном исходе которого заинтересовано не одно обвинительное или защитительное честолюбие, но вся Россия! Что приговор по этому делу будет приговором не над обвиняемыми только вотьяками, но и над школой с. Мултана, и над священником, сорок лет уже проповедующим в этом храме (в вызове которого защите отказано), и над всей нашей культурной миссией среди инородцев! Но сарапульский суд не так взглянул на дело. Вместо того, чтобы дать защите возможность сказать все, что она может сказать, просьбу защиты о вызове новых свидетелей рассматривает в распорядительном заседании тот же состав, который участвовал в приговоре, отмененном сенатом; заключение дает тот же тов. прокурора г. Раевский, и в вызове свидетелей защите отказано! И не только новых свидетелей, но и оправданных подсудимых, которых защита имеет право вызвать по закону (На этом обстоятельстве защита основывает новую кассационную жалобу.). Из двух экспертов-этнографов, высказывавшихся по этому предмету в печати, суд вызывает проф. Смирнова и отказывает защите в вызове г. Богаевского, который держится противоположных мнений. Из двух священников села Мултана вызван о. Ергин, живущий в Мултани два года, а не другой священник, который сорок лет провел среди своей паствы!

Впрочем, я опять отвлекаюсь от прямой задачи этой заметки, которая должна служить вступлением к сухому отчету о мултанском деле, - отчету, для которого "Русские ведомости" с нынешнего дня открывают свои страницы. История этого отчета следующая. По приглашению моих товарищей, работающих в провинциальной печати и хорошо знакомых с бытовой подкладкой этого дела, я приехал в Елабугу, намереваясь впоследствии изложить в печати свои впечатления. Здесь я застал еще двух корреспондентов: А. Н. Баранова и В. И. Суходоева. Вскоре же после начала заседания мы пришли к заключению, что

отрывочных заметок недостаточно, что "впечатления" играют лишь второстепенную роль, что лучшая услуга, какую пресса может оказать в этом деле, это - дать по возможности полное и точное изображение хотя бы одной стадии этого таинственного, запутанного и радикально испорченного предварительным следствием дела. А так как стенографа не было, то мы решили записывать втроем все, что происходит на суде, по возможности не пропуская ни одной фразы. Одному это было бы, конечно, не под силу, - втроем мы это исполнили. Неизбежные пропуски у каждого дополнены по записям двух других, и таким образом явился отчет, близкий к стенографическому. В течение трех дней после суда мы сверяли фразу за фразой все судебное следствие - и теперь ругаемся за полную точность отчета.

В другом месте, в более полном виде я сообщу свои личные впечатления, вынесенные из суда и с места таинственной драмы. Здесь же, внося свою посильную лепту для освещения фактической стороны этого темного дела, мы, составители отчета, обращаемся за помощью ко всей русской прессе. Пусть юристы оценят вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, послужившую к обвинению вотяков в каннибализме. Наконец мы не знаем, что нужно сделать с формально юридической точки зрения, - но мы всеми силами души взываем к расследованию этого дела от начала и до конца! Еще недавно отделение казанской судебной палаты в гор. Вятке постановило обвинительный приговор, которым установлено, что полицейские служители слободской команды производили тяжкие истязания над арестованным татаринном. Это происходило в той же Вятской губернии. Местная пресса с чрезвычайным сочувствием следит за борьбой, которую теперешнему вятскому губернатору г. Трепову приходится вести с нравами, долгие годы укоренявшимися в среде вятской полиции, имеющей дело с инородческим населением. Если не ошибаюсь, упомянутый судебный приговор есть лишь один из эпизодов этой борьбы. Между тем не только обвиняемые по этому делу, но и один из главных свидетелей обвинения два раза повторяли на суде, что показания у них вынуждались самыми незаконными средствами. Об этом даже председатель суда счел нужным сказать в своем заключении, отмечая, что главный свидетель обвинения мотивировал этим свой отказ от вынужденных показаний. И замечательно, что подробности, приводимые вотяками, довольно точно совпадают с приемами, за которые осуждены слободские полицейские (Арестованный Дюняшев был подвешен на жерди и в таком положении у него требовали сознания. О подвешивании же говорили и вотяки-мултанцы. Отчет о деле слободских полицейских был напечатан в газетах. Мы заимствуем из "Нижегор. листка", No 272.). Итак, это уж не слухи, неизвестно откуда исходящие, а серьезное обстоятельство, требующее самой тщательной проверки и бросающее особенный свет на материал, выдвинутый обвинением. Я знаю, что это подозрение очень тяжело и очень серьезно. Но и обвинение, которое теперь пало на всех вотяков и на все русское общество, тоже очень тяжело и очень серьезно, и мы можем, мы обязаны смиренно принять его лишь после того, как это будет всесторонне доказано.

Расследование, расследование! Пусть будут проверены все материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые фактически лишены были до сих пор свободы защиты против самого тяжелого из обвинений, какое только человек может предъявить против своего ближнего, пусть будут проверены их ссылки на то, что главные свидетели против них купили своими показаниями безнаказанность в уголовных деяниях, с одной стороны, и вынуждались к показаниям незаконными приемами - с другой. Если бы после всего этого оказалось, что они говорили неправду, что у них нет свидетелей, способных доказать их правоту, что они только клеветают на свидетелей обвинения и на полицию... тогда, но только тогда, новый приговор суда можно было бы считать окончательным. Только тогда истину в мрачном мултанском деле можно было бы счесть разысканной в вердикте присяжных. Только тогда обвиняемые понесли бы должную кару, и в летописи русского государства можно было бы занести тяжелую страницу. Только тогда можно будет признать, что на европейском континенте наше отечество донесло неприкосновенным обычай каннибальских жертвоприношений до конца XIX века и что в России еще теперь у стен христианских храмов возможно принесение людей в жертву языческим божествам.

Света, как можно больше света на это темное дело, иначе навсегда над ним нависнет страшное сомнение в том, где искать истинных жертв человеческого жертвоприношения! Матюнин ли это, погибший таинственной

и загадочной смертью, или это сами несчастные мултанцы являются жертвами следственных порядков, черты которых так ясно проступают в этом выдающемся деле.

Нижний-Новгород. 11 октября 1895 года.